

ДЖЕК  
ЛОНДОН



Морской волк



ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА



Всемирная литература

Джек Лондон  
**Морской Волк**

«ЭКСМО»

1904

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

**Лондон Д.**

Морской Волк / Д. Лондон — «Эксмо», 1904 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-04-199726-7

Хэмфри Ван Вейден, человек умственного труда, волею судеб оказывается на борту «Призрака» — в полной власти свирепого капитана Волка Ларсена. На этой шхуне царят дикие нравы и действует только один закон: силы. Герою приходится забыть о прежней жизни в цивилизованном мире и ежедневно сражаться — не только с морской стихией, но и с волей капитана: умного, одаренного, но безжалостного и жестокого. В романе есть и захватывающий сюжет, и морская стихия, и столкновение характеров — и, конечно, любовь!

Величественность природы, непоколебимая сила духа человека, любовь к жизни и неизменная искренность рассказа сделали произведения Лондона любимыми и востребованными вот уже у нескольких поколений читателей. Суровая романтика приключений соседствует в его книгах с размышлениями о самых глубоких, извечных вопросах человеческого бытия.

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-199726-7

© Лондон Д., 1904

© Эксмо, 1904

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	23
Глава 5	27
Глава 6	32
Глава 7	39
Глава 8	41
Глава 9	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# Джек Лондон Морской волк

Jack London  
THE SEA-WOLF

Перевод с английского Д. Горфинкеля и Л. Хвостенко  
Оформление серии Н. Ярусовой

© Издание на русском языке, оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2024

\* \* \*

## Глава 1

Не знаю, право, с чего начать, хотя иногда, в шутку, я сваливаю всю вину на Чарли Фэррета. У него была дача в Милл-Вэлли, под сенью горы Тамальпайс, но он жил там только зимой, когда ему хотелось отдохнуть и почитать на досуге Ницше или Шопенгауэра. С наступлением лета он предпочитал изнывать от жары и пыли в городе и работать не покладая рук. Не будь у меня привычки навещать его каждую субботу и оставаться до понедельника, мне не пришлось бы пересекать бухту Сан-Франциско в это памятное январское утро.

Нельзя сказать, чтобы «Мартинес», на котором я плыл, был ненадежным судном; этот новый пароход совершал уже свой четвертый или пятый рейс на переправе между Саусалито и Сан-Франциско. Опасность таилась в густом тумане, окутавшем бухту, но я, ничего не смысля в мореходстве, и не догадывался об этом. Хорошо помню, как спокойно и весело расположился я на носу парохода, на верхней палубе, под самой рулевой рубкой, и таинственность нависшей над морем туманной пелены мало-помалу завладела моим воображением. Дул свежий бриз, и некоторое время я был один среди сырой мглы – впрочем, и не совсем один, так как я смутно ощущал присутствие рулевого и еще кого-то, по-видимому капитана, в застекленной рубке у меня над головой.

Помнится, я размышлял о том, как хорошо, что существует разделение труда и я не обязан изучать туманы, ветры, приливы и всю морскую науку, если хочу навещать друга, живущего по ту сторону залива. Хорошо, что существуют специалисты – рулевой и капитан, думал я, и их профессиональные знания служат тысячам людей, осведомленным о море и мореплавании не больше моего. Зато я не трачу своей энергии на изучение множества предметов, а могу сосредоточить ее на некоторых специальных вопросах, например – на роли Эдгара По в истории американской литературы, чему, кстати сказать, была посвящена моя статья, напечатанная в последнем номере «Атлантика». Поднявшись на пароход и заглянув в салон, я не без удовлетворения отметил, что номер «Атлантика» в руках у какого-то дородного джентльмена раскрыт как раз на моей статье. В этом опять сказывались выгоды разделения труда: специальные знания рулевого и капитана давали дородному джентльмену возможность – в то время как его благополучно переправляют на пароходе из Саусалито в Сан-Франциско – ознакомиться с плодами моих специальных знаний о По.

У меня за спиной хлопнула дверь салона, и какой-то краснолицый человек затопал по палубе, прервав мои размышления. А я только что успел мысленно наметить тему моей будущей статьи, которую решил назвать «Необходимость свободы. Слово в защиту художника». Краснолицый бросил взгляд на рулевую рубку, посмотрел на окружающий нас туман, проковылял взад и вперед по палубе – очевидно, у него были протезы – и остановился возле меня, широко расставив ноги; на лице его было написано блаженство. Я не ошибся, предположив, что он провел всю свою жизнь на море.

– От такой мерзкой погоды недолго и поседеть! – проворчал он, кивая в сторону рулевой рубки.

– Разве это создает какие-то особые трудности? – отозвался я. – Ведь задача проста, как дважды два – четыре. Компас указывает направление, расстояние и скорость также известны. Остается простой арифметический подсчет.

– Особые трудности! – фыркнул собеседник. – Просто, как дважды два – четыре! Арифметический подсчет!

Слегка откинувшись назад, он смерил меня взглядом.

– А что вы скажете об отливе, который рвется в Золотые Ворота? – спросил или, вернее, пролаял он. – Какова скорость течения? А как относит? А это что – прислушайтесь-ка! Колокол? Мы лезем прямо на буй с колоколом! Видите – меняем курс.

Из тумана доносился заунывный звон, и я увидел, как рулевой быстро завертел штурвал. Колокол звучал теперь не впереди, а сбоку. Слышен был хриплый гудок нашего парохода, и время от времени на него откликались другие гудки.

– Какой-то еще пароходишко! – заметил краснолицый, кивая вправо, откуда доносились гудки. – А это! Слышите? Просто гудят в рожок. Верно, какая-нибудь шаланда. Эй, вы, там, на шаланде, не зевайте! Ну, я так и знал. Сейчас кто-то хлебнет лиха!

Невидимый пароход давал гудок за гудком, и рожок вторил ему, казалось, в страшном смятении.

– Вот теперь они обменялись любезностями и стараются разойтись, – продолжал краснолицый, когда тревожные гудки стихли.

Он разъяснял мне, о чем кричат друг другу сирены и рожки, а щеки у него горели и глаза сверкали.

– Слева пароходная сирена, а вон там, слышите, какой хрипун, – это, должно быть, паровая шхуна; она ползет от входа в бухту навстречу отливу.

Пронзительный свисток неистовствовал как одержимый где-то совсем близко впереди. На «Мартинесе» ему ответили ударами гонга. Колеса нашего парохода остановились, их пульсирующие удары по воде замерли, а затем возобновились снова. Пронзительный свисток, напоминавший стрекотанье сверчка среди рева диких зверей, долетал теперь из тумана, откуда-то сбоку, и звучал все слабее и слабее. Я вопросительно посмотрел на своего спутника.

– Какой-то отчаянный катерок, – пояснил он. – Прямо стоило бы потопить его! От них бывает много бед, а кому они нужны? Какой-нибудь осел заберется на такую посудину и носится по морю, сам не зная зачем, да свистит как полоумный. А все должны сторониться, потому что, видите ли, он идет и сам-то уж никак посторониться не умеет! Прет вперед, а вы смотрите в оба! Обязанность уступать дорогу! Элементарная вежливость! Да они об этом никакого представления не имеют.

Этот необъяснимый гнев немало меня позабавил; пока мой собеседник возмущенно ковылял взад и вперед, я снова поддался романтическому обаянию тумана. Да, в этом тумане, несомненно, была своя романтика.словно серый, исполненный таинственности призрак, навис он над крошечным земным шаром, кружащимся в мировом пространстве. А люди, эти искорки или пылинки, гонимые ненасытной жадой деятельности, мчались на своих деревянных и стальных конях сквозь самое сердце тайны, ощупью прокладывая себе путь в Незримом, и шумели и кричали самонадеянно, в то время как их души замирали от неуверенности и страха!

Голос моего спутника вернул меня к действительности и заставил усмехнуться. Разве я сам не блуждаю ощупью, думая, что мчусь уверенно сквозь тайну?

– Эге! Кто-то идет нам навстречу, – сказал краснолицый. – Слышите, слышите? Идет быстро и прямо на нас. Должно быть, он нас еще не слышит. Ветер относит.

Свежий бриз дул нам в лицо, и я отчетливо различил гудок сбоку и немного впереди.

– Тоже пассажирский? – спросил я.

Краснолицый кивнул:

– Да, иначе он не летел бы так, сломя голову. Наши там забеспокоились! – хмыкнул он.

Я посмотрел вверх. Капитан высунулся по грудь из рулевой рубки и напряженно вглядывался в туман, словно стараясь силой воли проникнуть сквозь него. Лицо его выражало тревогу. И на лице моего спутника, который проковылял к поручням и пристально смотрел в сторону незримой опасности, тоже была написана тревога.

Все произошло с непостижимой быстротой. Туман раздался в стороны, как разрезанный ножом, и перед нами возник нос парохода, тащивший за собой клочья тумана, словно Левиафан – морские водоросли. Я разглядел рулевую рубку и белобородого старика, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форму, очень ловко сидевшую на нем, и, я помню, меня пора-

зило, с каким хладнокровием он держался. Его спокойствие при этих обстоятельствах казалось страшным. Он подчинился судьбе, шел ей навстречу и с полным самообладанием ждал удара. Холодно и как бы задумчиво смотрел он на нас, словно прикидывая, где должно произойти столкновение, и не обратил никакого внимания на яростный крик нашего рулевого: «Отличились!»

Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что восклицание рулевого и не требовало ответа.

– Цепляйтесь за что-нибудь и держитесь крепче, – сказал мне краснолицый.

Весь его задор слетел с него, и он, казалось, заразился тем же сверхъестественным спокойствием.

– Ну, сейчас женщины поднимут визг! – сердито, почти злобно проворчал он, словно ему уже приходилось когда-то все это испытывать.

Суда столкнулись прежде, чем я успел воспользоваться его советом. Должно быть, встречный пароход ударил нас в середину борта, но это произошло вне поля моего зрения, и я ничего не видел. «Мартинес» сильно накренился, послышался треск ломающейся обшивки. Я упал плашмя на мокрую палубу и не успел еще подняться на ноги, как услышал крик женщин. Это был неопиcуемый, душераздирающий вопль, и тут меня объял ужас. Я вспомнил, что спасательные пояса хранятся в салоне, кинулся туда, но у дверей столкнулся с толпой обезумевших пассажиров, которая отбросила меня назад. Не помню, что затем произошло, – в памяти моей сохранилось только воспоминание о том, как я стаскивал спасательные пояса с полка над головой, а краснолицый человек надевал их на бившихся в истерике женщин. Это я помню отчетливо, и вся картина стоит у меня перед глазами. Как сейчас вижу я зазубренные края пробоины в стене салона и вползавший в это отверстие клубящийся серый туман; пустые мягкие диваны с разбросанными на них пакетами, саквояжами, зонтами и пледами, брошенными во время внезапного бегства; полного джентльмена, не так давно мирно читавшего мою статью, а теперь напялившего на себя пробковый пояс и с монотонной настойчивостью вопрошавшего меня (журнал с моей статьей все еще был у него в руке), есть ли опасность; краснолицего человека, бодро ковылявшего на своих искусственных ногах и надевавшего пояс на всех, кто появлялся в каюте... Помню дикий визг женщин.

Да, этот визг женщин больше всего действовал мне на нервы. По-видимому, страдал от него и краснолицый, ибо еще одна картина навсегда осталась у меня в памяти: плотный джентльмен засовывает журнал в карман пальто и с любопытством озирается кругом; сбившиеся в кучу женщины, с бледными, искаженными страхом лицами, пронзительно кричат, словно хор погибших душ, а краснолицый человек, теперь уже совсем багровый от гнева, стоит в позе громовержца, потрясая над головой кулаками, и орет:

– Замолчите! Да замолчите же!

Помню, как, глядя на это, я вдруг почувствовал, что меня душит смех, и понял, что и я впадаю в истерику; ведь предо мною были женщины, такие же, как моя мать или сестры, – женщины, охваченные страхом смерти и не желавшие умирать. Их крики напомнили мне визг свиней под ножом мясника, и это потрясло меня. Эти женщины, способные на самые высокие чувства, на самую нежную привязанность, вопили, разинув рты. Они хотели жить, но были беспомощны, как крысы в крысоловке, и визжали, не помня себя.

Это было ужасно, и я опрометью бросился на палубу. Почувствовав дурноту, я опустился на скамью. Смутно видел я метавшихся людей, слышал их крики, – кто-то пытался спустить шлюпки... Все происходило так, как описывается в книгах. Тали заедало. Все было неисправно. Одну шлюпку спустили, забыв вставить пробки; когда женщины и дети сели в нее, она наполнилась водой и перевернулась. Другую шлюпку удалось спустить только одним концом: другим она повисла на таях, и ее бросили. А парохода, который был причиной бедствия, и след простыл, но кругом говорили, что он, несомненно, вышлет нам спасательные шлюпки.



Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинес» быстро погружался, вода подступала к краю борта. Многие пассажиры стали прыгать за борт. Другие, уже барахтаясь в воде, кричали, чтобы их подняли обратно на пароход. Никто не слушал их. Все покрыл общий крик: «Тонем!» Поддавшись охватившей всех панике, я вместе с другими бросился за борт. Я не отдавал себе отчета в том, что делаю, но, очутившись в воде, мгновенно понял, почему люди кругом молили, чтобы их подняли обратно на пароход. Вода была холодная, нестерпимо холодная. Когда я погрузился в нее, меня обожгло, как огнем. Холод проникал до костей; казалось, смерть уже заключает меня в свои ледяные объятия. Я захлебнулся от неожиданности и страха и успел набрать в легкие воды прежде, чем спасательный пояс снова поднял меня на поверхность. Во рту у меня было солоно от морской воды, и я задыхался от ощущения чего-то едкого, проникшего мне в горло и в легкие.

Но особенно ужасен был холод. Мне казалось, что я этого не выдержу, что минуты мои сочтены. Вокруг меня в воде барахтались люди. Они что-то кричали друг другу. Я слышал также плеск весел. Очевидно, потопивший нас пароход выслал за нами шлюпки. Время шло, и меня изумляло, что я все еще жив. Но мои ноги уже утратили чувствительность, и онемение распространялось дальше, подступало к самому сердцу. Мелкие сердитые волны с пенистыми хребтами перекатывались через меня; я захлебывался и задыхался.

Шум и крики становились все глуше; последний отчаянный вопль донесся до меня издали, и я понял, что «Мартинес» пошел ко дну. Потом – сколько прошло времени, не знаю, – я очнулся, и ужас снова овладел мной. Я был один. Я не слышал больше голосов, криков о помощи – только шум волн, которому туман придавал какую-то таинственную, вибрирующую гулкость. Паника, охватывающая человека, когда он в толпе и разделяет общую участь, не так ужасна, как страх, переживаемый в одиночестве. Куда несли меня волны? Краснолицый говорил, что отлив уходит через Золотые Ворота. Неужели меня унесет в открытое море? А ведь мой спасательный пояс может развалиться в любую минуту! Я слышал, что эти пояса делают иногда из картона и тростника, и тогда, намокнув, они быстро теряют плавучесть. А я совсем не умел плавать. Я был один, и меня несло неведомо куда, среди извечной серой безбрежности. Признаюсь, мной овладело безумие, и я кричал, как кричали женщины, и бил по воде окочевевшими руками.

Не знаю, как долго это тянулось. Потом я впал в забытие и вспоминаю об этом только как о тревожном, мучительном сне. Когда я очнулся, казалось, прошли века. Почти над самой головой я увидел выступавший из тумана нос судна и три треугольных паруса, заходящие один за другой и наполненные ветром. Вода пенилась и клекотала там, где ее разрезал нос корабля, а я был как раз на его пути. Я хотел крикнуть, но у меня не хватило сил. Нос судна скользнул вниз, едва не задев меня, и волна перекатилась над моей головой. Затем мимо меня начал скользить длинный черный борт судна – так близко, что я мог бы коснуться его рукой. Я сделал попытку ухватиться за него, я готов был впиться в дерево ногтями, но руки мои были тяжелы и безжизненны. Я снова попытался крикнуть, но голос изменил мне.

Промелькнула мимо корма, нырнув в пучину между волнами, и я мельком увидел человека у штурвала и еще одного, спокойно курившего сигару. Я видел дымок, поднимавшийся от его сигары, когда он медленно повернул голову и скользнул взглядом по воде в мою сторону. Это был случайный, рассеянный взгляд, случайный поворот головы, одно из тех движений, которые люди делают машинально, когда они ничем не заняты, – просто из потребности в движении.

Но для меня в этом взгляде была жизнь или смерть. Я видел, как туман уже снова поглощает судно. Я видел спину рулевого и голову того, другого, когда он медленно, очень медленно обернулся и его взгляд скользнул по воде. Это был отсутствующий взгляд человека, погруженного в думу, и я с ужасом подумал, что он все равно не заметит меня, даже если я попаду в поле его зрения. Но вот его взгляд упал на меня, и его глаза встретились с моими глазами.

Он увидел меня. Прыгнув к штурвалу, он оттолкнул рулевого и сам быстро завертел колесо, выкрикивая в то же время какую-то команду. Судно начало отклоняться в сторону и почти в тот же миг скрылось в тумане.

Я почувствовал, что снова впадаю в беспамятство, и напряг все силы, чтобы не поддаться пустоте и мраку, стремившимся поглотить меня. Вскоре я услышал быстро приближавшийся плеск весел и чей-то голос. Потом, уже совсем близко, раздался сердитый окрик:

– Какого черта вы не откликаетесь?

Это мне кричат, подумал я и тут же провалился в пустоту и мрак.

## Глава 2

Мне казалось, что какая-то сила качает и несет меня в мировом пространстве, подчинив мощному ритму. Мерцающие искорки вспыхивали и пролетали мимо. Я догадывался, что это звезды и огненные кометы, сопровождающие мой полет среди светил. Когда в своем качании я снова достиг вершины амплитуды и уже готов был пуститься в обратный путь, где-то ударил и загудел громадный гонг. Неисчислимо долго, целые столетия, безмятежно канувшие в вечность, наслаждался я своим исполинским полетом.

Но сон мой начал меняться, — а я уже понимал, что это сон. Амплитуда моего полета становилась все короче и короче. Меня начало бросать из стороны в сторону с раздражающей быстротой. Я едва успевал перевести дух — с такой стремительностью мчался я в небесном пространстве. Гонг грохотал все чаще и яростнее. Я ждал каждого его удара с невыразимым ужасом. Потом мне показалось, что меня тащат по хрустящему, белому, раскаленному солнцем песку. Это причиняло мне невыносимые муки. Мою кожу опалял огонь. Гонг гудел, как похоронный колокол. Сверкающие точки мчались мимо нескончаемым потоком, словно вся звездная система проваливалась в пустоту. Я вздохнул, с трудом перевел дыхание и открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, хлопотали надо мной. То, что качало меня в мощном ритме и несло куда-то, оказалось качкой судна на волнах океана, а вместо ужасного гонга я увидел висевшую на стене сковороду, которая бренчала и дребезжала при каждом наклоне судна. Хрустящий, опалявший меня огнем песок превратился в жесткие ладони какого-то человека, растиравшего мою обнаженную грудь. Я застонал от боли, приподнял голову и посмотрел на свое красное, воспаленное тело, покрытое капельками крови, проступившими сквозь расцарапанную кожу.

— Хватит, Ионсон, — сказал второй. — Не видишь, что ли, совсем содрал с джентльмена кожу!

Тот, кого называли Ионсоном, — человек могучего скандинавского типа, — перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. У второго — судя по выговору, типичного кокни<sup>1</sup> — были мелкие, почти женственные черты лица; внешность его позволяла предположить, что он с молоком матери впитал в себя перезвон лондонских церковных колоколов. Грязный полотняный колпак на голове и грубый засаленный передник на узких бедрах изобличали в нем кока того чрезвычайно грязного камбуза, в котором я находился.

— Ну, как вы себя чувствуете, сэр? — спросил он с угодливой улыбкой, которая является наследием многих поколений, привыкших получать на чай.

Вместо ответа я с усилием приподнялся и сел, а затем с помощью Ионсона встал на ноги. Дребезжание сковороды ужасно действовало мне на нервы. Я не мог собраться с мыслями. Ухватившись, чтобы не упасть, за деревянную переборку, оказавшуюся настолько солевой и грязной, что я невольно стиснул зубы от отвращения, я потянулся к несносной посудине, висевшей над топившейся плитой, снял ее с гвоздя и швырнул в ящик с углем.

Кок ухмыльнулся при таком проявлении нервозности. Он сунул мне в руку дымящуюся кружку с какой-то бурдой и сказал:

— Хлебните-ка, это пойдет вам на пользу!

В кружке было отвратительное пойло — корабельный кофе, — но оно все же согрело и оживило меня. Прихлебывая этот напиток, я рассматривал свою разодранную, окровавленную грудь, а затем обратился к скандинаву:

— Благодарю вас, мистер Ионсон, — сказал я. — Но не кажется ли вам, что вы применили ко мне слишком уж героические меры?

---

<sup>1</sup> Кокни — уроженец Лондона: так обычно называют простой лондонский люд.

Не знаю, почувствовал ли он упрек в моих словах, но во всяком случае взгляд, который я бросил на свою грудь, был достаточно выразителен. В ответ он молча показал мне свою ладонь. Это была необыкновенно мозолистая ладонь. Я провел пальцами по ее роговым затвердениям, и у меня заныли зубы от неприятного ощущения шероховатой поверхности.

– Меня зовут Джонсон, а не Ионсон, – сказал он на правильном английском языке, медленно, но почти без акцента.

В его бледно-голубых глазах я прочел кроткий протест; вместе с тем в них была какая-то застенчивая прямота и мужественность, которые сразу расположили меня к нему.

– Благодарю вас, мистер Джонсон, – поспешил я исправить свою ошибку и протянул ему руку.

Он медлил, смущенно и неуклюже переминаясь с ноги на ногу; потом решительно схватил мою руку и с чувством пожал ее.

– Не найдется ли у вас чего-нибудь, чтобы я мог переодеться? – спросил я кока, оглядывая свою мокрую одежду.

– Найдем, сэр! – живо отозвался тот. – Если вы не побрезгуете надеть мои вещи, я сбегаю вниз и притащу.

Он вышел, вернее, выскользнул из дверей с проворством, в котором мне почудилось что-то кошачье или даже змеиное. Эта его способность скользить ужом была, как я убедился впоследствии, весьма для него характерна.

– Где это я нахожусь? – спросил я Джонсона, которого не без основания принял за одного из матросов. – Что это за судно и куда оно идет?

– Мы около Фараллонских островов, на юго-запад от них, – неторопливо промолвил он, методично отвечая на мои вопросы и стараясь, по-видимому, как можно правильнее говорить по-английски. – Это шхуна «Призрак». Идем к берегам Японии – бить котиков.

– А кто капитан шхуны? Мне нужно повидаться с ним, как только я переоденусь.

На лице Джонсона неожиданно отразилось крайнее смущение и замешательство. Он ответил не сразу; видно было, что он тщательно подбирает слова и мысленно составляет исчерпывающий ответ.

– Капитан – Волк Ларсен, так его все называют. Я никогда не слыхал его настоящего имени. Но говорите с ним поосторожнее. Он сегодня бешеный. Его помощник...

Он не закончил, – в камбуз нырнул кок.

– Убирайся-ка лучше отсюда, Ионсон! – сказал тот. – Старик хватится тебя на палубе, а нынче, если ему не угодишь, – беда.

Джонсон послушно направился к двери, подмигнув мне из-за спины кока с необычайно торжественным и значительным видом, словно желая выразить этим то, чего он не договорил, и внушить мне еще раз, что с капитаном надо разговаривать поосторожнее.

Через руку у кока было перекинута какое-то грязное, мягкое тряпье, от которого довольно скверно пахло.

– Оно было сырое, сэр, когда я его снял и спрятал, – почел он нужным объяснить мне. – Но вам придется пока обойтись этим, а потом я высушу ваше платье.

Цепляясь за переборки, так как судно сильно качало, я с помощью кока кое-как натянул на себя грубую фуфайку и невольно поежился от прикосновения колючей шерсти. Заметив, должно быть, гримасу на моем лице, кок осклабился.

– Ну, вам не навек привыкать к такой одежде. Кожа-то у вас нежная, словно у какой-нибудь леди. Я как увидел вас, так сразу понял, что вы – джентльмен.

Этот человек не понравился мне с первого взгляда, а когда он помогал мне одеваться, моя неприязнь к нему возросла еще больше. Его прикосновения вызывали во мне гадливость. Я сторонился его рук и вздрагивал, когда он дотрагивался до меня. Это неприятное чувство и запах, исходивший от кипевших и бурливших на плите кастрюль, заставили меня поспешить с

переодеванием, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух. К тому же мне нужно было еще договориться с капитаном относительно доставки меня на берег.

Дешевая сатиновая рубашка, с обтрепанным воротом и подозрительными, похожими на кровяные, пятнами на груди, была надета на меня под аккомпанемент неумолчных пояснений и извинений. Туалет мой завершила пара грубых башмаков и синий выцветший комбинезон, у которого одна штанина оказалась дюймов на десять короче другой. Можно было подумать, что дьявол пытался цапнуть через нее душу лондонца, но, не обнаружив таковой, оторвал со злости кусок оболочки.

– Но я не знаю, кого же мне благодарить? – спросил я, облачившись в это тряпье. На голове у меня красовалась фуражка, которая была мне мала, а поверх рубашки я натянул еще грязную полосатую бумазейную куртку; она едва доходила мне до талии, а рукава чуть прикрывали локти.

Кок самодовольно выпрямился, и заискивающая улыбка расплылась по его лицу. У меня был некоторый опыт, – я знал, как ведет себя прислуга на атлантических пароходах, когда рейс подходит к концу, и мог поклясться, что кок ожидает подачки. Однако мое дальнейшее знакомство с этим субъектом показало, что поза была бессознательной. Это была врожденная угодливость.

– Магридж, сэр, – пробормотал он с елейной улыбкой на своем женственном лице. – Томас Магридж, сэр. К вашим услугам!

– Ладно, Томас, – сказал я. – Я не забуду вас, когда высохнет мое платье.

Его лицо просияло, глаза заблестели; казалось, голоса предков зазвучали в его душе, рождая смутные воспоминания о чаевых, полученных ими во время их пребывания на земле.

– Благодарю вас, сэр! – произнес он с чувством и почти искренним смирением.

Я отодвинул дверь, и кок, тоже как на роликах, скользнул в сторону; я вышел на палубу. Меня все еще пошатывало от слабости после долгого пребывания в воде. Порыв ветра налетел на меня, и я, сделав несколько нетвердых шагов по качающейся палубе до угла рубки, поспешил ухватиться за него, чтобы не упасть. Сильно накренившись, шхуна скользила вверх и вниз по длинной тихоокеанской волне. Если, как сказал Джонсон, судно шло на юго-запад, то ветер, по моим расчетам, дул примерно с юга. Туман рассеялся, и поверхность воды искрилась на солнце. Я повернулся к востоку, где должна была находиться Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко стлавшихся пластов тумана, того самого тумана, который вызвал катастрофу «Мартинеса» и был причиной моего бедственного положения. К северу, неподалеку от нас, из моря торчала группа голых скал, и на одной из них я различил маяк. К юго-западу, там, куда мы держали курс, я увидел пирамидальные очертания парусов какого-то корабля.

Оглядев море, я перевел взгляд на более близкие предметы. Моей первой мыслью было, что человек, потерпевший кораблекрушение и бывший на волосок от смерти, заслуживает, пожалуй, большего внимания, чем то, которое было мне оказано. Никто, как видно, не интересовался моей особой, кроме матроса у штурвала, с любопытством поглядывавшего на меня поверх рубки.

Все, казалось, были заняты тем, что происходило посреди палубы. Там, на крышке люка, лежал какой-то грузный мужчина. Он лежал на спине; рубашка на его груди, поросшей густыми, черными, похожими на шерсть волосами, была разодрана. Черная с проседью борода покрывала всю нижнюю часть его лица и шею. Борода, вероятно, была жесткая и пышная, но обвисла и слиплась, и с нее струйками стекала вода. Глаза его были закрыты – он, очевидно, находился без сознания, – но грудь тяжело вздымалась; он с шумом вбирал в себя воздух, широко раскрыв рот, борясь с удушьем. Один из матросов спокойно и методично, словно выполняя привычную обязанность, спускал за борт на веревке брезентовое ведро, вытягивал его, перехватывая веревку руками, и окатывал водой лежавшего без движения человека.



Возле люка расхаживал взад и вперед, сердито жуя сигару, тот самый человек, случайному взгляду которого я был обязан своим спасением. Ростом он был, вероятно, пяти футов и десяти дюймов, быть может десяти с половиной, но не это бросилось мне прежде всего в глаза, – я сразу почувствовал его силу. Это был человек атлетического сложения, с широкими плечами и грудью, но я не назвал бы его тяжеловесным. В нем была какая-то жилистая, упругая сила, обычно свойственная нервным и худощавым людям, и она придавала этому огромному человеку некоторое сходство с большой гориллой. Я вовсе не хочу сказать, что он походил на гориллу. Я говорю только, что заключенная в нем сила, независимо от его внешности, вызвала в вас такие ассоциации. Подобного рода сила обычно связывается в нашем представлении с первобытными существами, с дикими зверями, с нашими предполагаемыми предками, жившими на деревьях. Это сила дикая, свирепая, заключающая в самой себе жизненное начало – самую сущность жизни, как потенции движения и первозданной материи, претворяющихся в различных видах живых существ; короче говоря, это та живучесть, которая заставляет змею извиваться, когда у нее отрубят голову, и которая теплится в бесформенном комке мяса убитой черепахи, содрогающемся при прикосновении к нему пальцем.

Таково было впечатление, которое производил этот человек, шагавший по палубе. Он крепко стоял на ногах, ступал твердо и уверенно; каждое движение его мускулов – то, как он пожимал плечами или стискивал в зубах сигару, – все было полно решимости и казалось проявлением избыточной, бьющей через край силы. Но эта внешняя сила, пронизывавшая его движения, казалась лишь отголоском другой, еще более грозной силы, которая притаилась и дремала в нем, но могла в любой миг пробудиться, подобно ярости льва или бешеному порыву урагана.

Кок высунул голову из двери камбуза и ободряюще улыбнулся мне, указывая большим пальцем на человека, прохаживавшегося около люка. Я понял, что это и есть капитан шхуны, или – на языке кока – «старик», то есть тот, к кому я должен обратиться, дабы потревожить его просьбой доставить меня каким-нибудь способом на берег. Я двинулся было вперед, предчувствуя, что мне предстоит бурное объяснение, но в эту минуту новый страшный приступ удущья овладел несчастным, лежавшим на палубе. Его стали корчить судороги. Спина его выгнулась дугой, голова совсем запрокинулась назад, а грудь расширилась в бессознательном усилии набрать побольше воздуха. Я не видел его лица, только мокрую черную бороду, но почувствовал, как багровеет его кожа.

Капитан – Волк Ларсен, как его называли, – остановился и посмотрел на умирающего. Жестокой и отчаянной была эта последняя схватка со смертью; охваченный любопытством матрос перестал лить воду, брезентовое ведро накренилось, и из него тонкой струйкой стекала вода. Умиравший судорожно бил каблуками по крышке люка; потом его ноги вытянулись и застыли в последнем страшном напряжении, в то время как голова еще продолжала метаться из стороны в сторону. Но вот мышцы ослабли, голова больше не двигалась, и вздох как бы глубокого облегчения слетел с его губ. Челюсть у него отвисла, верхняя губа приподнялась, и обнажились два ряда пожелтевших от табака зубов. Казалось, его черты застыли в дьявольской усмешке – словно он издевался над миром, который ему удалось пережить, покинув его.

И тут произошло нечто неожиданное. Капитан внезапно, подобно удару грома, обрушился на мертвеца. Поток ругани хлынул из его уст. И это не были обычные ругательства или непристойности. В каждом слове было богохульство, а слова так и сыпались. Они гремели и трещали, словно электрические разряды. Я в жизни не слыхал, да и не мог бы вообразить себе ничего подобного. Обладая сам литературной жилкой и питая пристрастие к сочным словам и оборотам, я, пожалуй, лучше всех присутствующих мог оценить своеобразную живость, красочность и в то же время неслыханную кощунственность его метафор. Насколько я мог понять, причиной этой вспышки было то, что умерший – помощник капитана – загулял перед уходом

из Сан-Франциско, а потом имел не деликатность умереть в самом начале плавания и оставить Волка Ларсена без его, так сказать, правой руки.

Излишне упоминать, – во всяком случае, мои друзья поймут это и так, – что я был шокирован. Брань и сквернословие всегда были мне противны. У меня засосало под ложечкой, заныло сердце, мне стало невыразимо тошно. Смерть в моем представлении всегда была сопряжена с чем-то торжественным и возвышенным. Она приходила мирно и священнодействовала у ложа своей жертвы. Смерть в таком мрачном, отталкивающем обличье явилась для меня чем-то невиданным и несслыханным. Отдавая, как я уже сказал, должное выразительности изрыгаемых Волком Ларсеном проклятий, я был ими чрезвычайно возмущен. Мне казалось, что их огненный поток должен испепелить лицо трупа, и я не удивился бы, если бы мокрая черная борода вдруг начала завиваться колечками и вспыхнула дымным пламенем. Но мертвецу уже не было до этого никакого дела. Он продолжал сардонически усмехаться – с вызовом, с цинической издевкой. Он был хозяином положения.

## Глава 3

Волк Ларсен оборвал свою брань так же внезапно, как начал. Он раскурил потухшую сигару и огляделся вокруг. Взор его упал на Магриджа.

– А, любезный кок? – начал он ласково, но в голосе его чувствовались холод и твердость стали.

– Есть, сэр! – угодливо и виновато, с преувеличенной готовностью отозвался тот.

– Ты не боишься растянуть себе шею? Это, знаешь ли, не особенно полезно. Помощник умер, и мне не хотелось бы потерять еще и тебя. Ты должен очень беречь свое здоровье, кок. Понятно?

Последнее слово, в полном контрасте с мягкостью всей речи, прозвучало резко, как удар бича. Кок съежился.

– Есть, сэр! – слышался испуганный ответ, и голова провинившегося кока исчезла в камбузе.

При этом разносе, выпавшем на долю одного кока, остальной экипаж перестал глазеть на мертвеца и вернулся к своим делам. Но несколько человек остались в проходе между камбузом и люком и продолжали переговариваться вполголоса. Я понял, что это не матросы, и потом узнал, что это охотники на котиков, занимавшие несколько привилегированное положение по сравнению с простыми матросами.

– Иогансен! – позвал Волк Ларсен. Матрос тотчас приблизился. – Возьми иглу и гардаман и зашей этого бродягу. Старую парусину найдешь в кладовой. Ступай!

– А что привязать к ногам, сэр? – спросил матрос после обычного «есть, сэр».

– Сейчас устроим, – ответил Волк Ларсен и кликнул кока.

Томас Магридж выскочил из своего камбуза, как игрушечный чертик из коробки.

– Спустись в трюм и принеси мешок угля.

– Нет ли у кого-нибудь из вас, ребята, Библии или молитвенника? – слышалось новое требование, обращенное на этот раз к охотникам.

Они покачали головой, и один отпустил какую-то шутку, которой я не расслышал; она была встречена общим смехом.

Капитан обратился с тем же вопросом к матросам. Библия и молитвенник были здесь, по-видимому, редкими предметами, но один из матросов вызвался спросить у подвахтенных. Однако минуты через две он вернулся ни с чем.

Капитан пожал плечами.

– Тогда придется бросить его за борт без лишней болтовни. Впрочем, может быть, выловленный нами молодчик знает морскую похоронную службу наизусть? Он что-то смахивает на попа.

При этих словах Волк Ларсен внезапно повернулся ко мне.

– Вы, верно, пастор? – спросил он.

Охотники – их было шестеро – все, как один, тоже повернулись в мою сторону, и я болезненно ощутил свое сходство с вороньим пугалом. Мой вид вызвал хохот. Присутствие покойника, распростертого на палубе и тоже, казалось, скалившего зубы, никого не остановило. Это был хохот грубый, резкий и беспощадный, как само море, хохот, отражавший грубые чувства людей, которым не знакомы чуткость и деликатность.

Волк Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах мелькали искорки удовольствия, и только тут, подойдя к нему ближе, я получил более полное впечатление от этого человека, – до сих пор я воспринимал его скорее как шагающую по палубе фигуру, изрыгающую поток ругательств. У него было несколько угловатое лицо с крупными и резкими, но правильными чертами, казавшееся на первый взгляд массивным. Но это первое впечатление от его лица, так же

как и от его фигуры, быстро отступало на задний план, и оставалось только ощущение скрытой в этом человеке внутренней силы, дремлющей где-то в недрах его существа. Скулы, подбородок, высокий лоб с выпуклыми надбровными дугами, могучие, даже необычайно могучие сами по себе, казалось, говорили об огромной, скрытой от глаз жизненной энергии или мощи духа, – эту мощь было трудно измерить или определить ее границы, и невозможно было отнести ее ни под какую установленную рубрику.

Глаза – мне довелось хорошо узнать их – были большие и красивые, осененные густыми черными бровями и широко расставленные, что говорило о недюжинности натуры. Цвет их, изменчиво-серый, поражал бесчисленным множеством оттенков, как переливчатый шелк в лучах солнца. Они были то серыми – темными или светлыми, – то серовато-зелеными, то принимали лазурную окраску моря. Эти изменчивые глаза, казалось, скрывали его душу, словно непрестанно менявшиеся маски, и лишь в редкие мгновения она как бы проглядывала из них, точно рвалась наружу, навстречу какому-то заманчивому приключению. Эти глаза могли быть мрачными, как хмурое свинцовое небо; могли метать искры, отливая стальным блеском обнаженного меча; могли становиться холодными, как полярные просторы, или теплыми и нежными. И в них мог вспыхивать любовный огонь, обжигающий и властный, который притягивает и покоряет женщин, заставляя их сдаваться восторженно, радостно и самозабвенно.

Но вернемся к рассказу. Я ответил капитану, что я не пастор и, к сожалению, не умею служить панихиду, но он бесцеремонно перебил меня:

– А чем вы зарабатываете на жизнь?

Признаюсь, ко мне никогда еще не обращались с подобным вопросом, да и сам я никогда над этим не задумывался. Я опешил и довольно глупо пробормотал:

– Я... я – джентльмен.

По губам капитана скользнула усмешка.

– У меня есть занятие, я работаю! – торопливо воскликнул я, словно стоял перед судьей и нуждался в оправдании, отчетливо сознавая в то же время, как нелепо с моей стороны пускаться в какие бы то ни было объяснения по этому поводу.

– Это дает вам средства к жизни?

Вопрос прозвучал так властно, что я был озадачен, – сбит с панталыку, как сказал бы Чарли Фэрасет, – и молчал, словно школьник перед строгим учителем.

– Кто вас кормит? – последовал новый вопрос.

– У меня есть постоянный доход, – с достоинством отвечал я и в ту же секунду готов был откусить себе язык. – Но все это, простите, не имеет отношения к тому, о чем я хотел поговорить с вами.

Однако капитан не обратил никакого внимания на мой протест.

– Кто заработал эти средства? А?.. Ну, я так и думал – ваш отец. Вы не стоите на своих ногах – кормитесь за счет мертвецов. Вы не смогли бы прожить самостоятельно и суток, не сумели бы три раза в день набить себе брюхо. Покажите руку!

Страшная сила, скрытая в этом человеке, внезапно пришла в действие, и, прежде чем я успел опомниться, он шагнул ко мне, схватил мою правую руку и поднес к глазам. Я попытался освободиться, но его пальцы без всякого видимого усилия крепче охватили мою руку, и мне показалось, что у меня сейчас затрещат кости. Трудно при таких обстоятельствах сохранять достоинство. Я не мог извиваться или брыкаться, как мальчишка, однако не мог и вступить в единоборство с этим чудовищем, угрожавшим одним движением сломать мне руку. Приходилось стоять смиренно и переносить это унижение.

Тем временем у покойника, как я успел заметить, уже обшарили карманы, и все, что там сыскалось, сложили на палубе, а труп, на лице которого застыла сардоническая усмешка, обернули в парусину, и Иогансен принялся сшивать ее толстой белой ниткой, втыкая иглу

ладонью с помощью особого приспособления, называемого гардаманом и сделанного из куска кожи.

Волк Ларсен с презрительной гримасой отпустил мою руку.

– Изнеженная рука – за счет тех же мертвецов. Такие руки ни на что, кроме мытья посуды и стряпни, не годны.

– Мне хотелось бы сойти на берег, – решительно заявил я, овладев наконец собой. – Я уплачу вам, сколько вы потребуете за хлопоты и задержку в пути.

Он с любопытством поглядел на меня. Глаза его светились насмешкой.

– У меня другое предложение – для вашего же блага. Мой помощник умер, и мне придется сделать кое-какие перемещения. Один из матросов займет место помощника, юнга отправится на бак – на место матроса, а вы замените юнгу. Подпишите условие на этот рейс – двадцать долларов в месяц и харчи. Ну, что скажете? Заметьте – это для вашего же блага! Я сделаю вас человеком. Вы со временем научитесь стоять на своих ногах и, быть может, даже ковылять немного.

Я не придал значения этим словам. Замеченные мною на юго-западе паруса росли; они вырисовывались все отчетливее и, видимо, принадлежали такой же шхуне, как и «Призрак», хотя корпус судна, насколько я мог его разглядеть, был меньше.

Шхуна, покачиваясь, скользила нам навстречу, и это было очень красивое зрелище. Я видел, что она должна пройти совсем близко. Ветер быстро крепчал. Солнце, послав нам несколько тусклых лучей, скрылось. Море приняло мрачный свинцово-серый оттенок, забурлило, и к небу полетели клочья белой пены. Наша шхуна прибавила ходу и дала больший крен. Пронесся порыв ветра, поручни исчезли под водой, и волна хлынула на палубу, заставив охотников, сидевших на закраине люка, поспешно поджать ноги.

– Это судно скоро пройдет мимо нас, – сказал я, помолчав. – Оно идет в обратном направлении, быть может – в Сан-Франциско.

– Весьма возможно, – отозвался Ларсен и, отвернувшись от меня, крикнул: – Кок! Эй, кок!

Томас Магридж вынырнул из камбуза.

– Где этот юнга? Скажи ему, что я его зову.

– Есть, сэр.

Томас Магридж бросился на корму и исчез в другом люке около штурвала. Через секунду он снова появился на палубе, а за ним шагал коренастый парень лет восемнадцати-девятнадцати, с лицом хмурым и злобным.

– Вот он, сэр, – сказал кок.

Но Ларсен, не обращая на него больше внимания, повернулся к юнге.

– Как тебя зовут?

– Джордж Лич, сэр, – последовал угрюмый ответ; видно было, что юнга догадывается, зачем его позвали.

– Фамилия не ирландская, – буркнул капитан. – О’Тул или Мак-Карти куда больше подошло бы к твоей роже. Верно, какой-нибудь ирландец прятался у твоей мамы за поленницей.

Я видел, как у парня от этого оскорбления сжались кулаки и побагровела шея.

– Ну, ладно, – продолжал Волк Ларсен. – У тебя могут быть веские причины забыть свою фамилию, – мне на это наплевать, пока ты делаешь свое дело. Ты, конечно, с Телеграфной горы<sup>2</sup>. Это у тебя на лбу написано. Я вашего брата знаю. Вы там все упрямы как ослы и злы как черти. Но можешь быть спокоен, мы тебя здесь живо обломаем. Понял? Кстати, через кого ты нанимался?

– Агентство Мак-Криди и Свенсон.

---

<sup>2</sup> Телеграфная гора – ирландский район в Сан-Франциско.



– Сэр! – загремел капитан.

– Мак-Криди и Свенсон, сэр, – поправился юнга, и глаза его злобно сверкнули.

– Кто получил аванс?

– Они, сэр.

– Я так и думал. И ты небось был до черта рад. Спешил, знал, что за тобой кое-кто охотится.

Во мгновение ока юнга преобразился в дикаря. Он пригнулся, словно для прыжка, ярость искажила его лицо.

– Вот что... – выкрикнул было он.

– Что? – почти вкрадчиво спросил Ларсен, словно его одолевало любопытство.

Но юнга уже взял себя в руки.

– Ничего, сэр. Я беру свои слова назад.

– И тем доказываешь, что я прав, – удовлетворенно улыбнулся капитан. – Сколько тебе лет?

– Только что исполнилось шестнадцать, сэр.

– Врешь! Тебе больше восемнадцати. И ты еще велик для своих лет, и мускулы у тебя как у жеребца. Собери свои пожитки и переходи в кубрик на бак. Будешь матросом, гребцом. Это повышение, понял?

Не ожидая ответа, капитан повернулся к матросу, который зашивал труп в парусину и только что закончил свое мрачное занятие.

– Иогансен, ты что-нибудь смыслишь в навигации?

– Нет, сэр.

– Ну, не беда! Все равно будешь теперь помощником. Перенеси свои вещи в каюту, на его койку.

– Есть, сэр! – весело ответил Иогансен и тут же направился на бак.

Но бывший юнга все еще не трогался с места.

– А ты чего ждешь? – спросил капитан.

– Я не нанимался матросом, сэр, – был ответ. – Я нанимался юнгой. Я не хочу служить матросом.

– Собирай вещи и ступай на бак!

На этот раз приказ звучал властно и грозно. Но парень угрюмо насупился и не двинулся с места.

Тут Волк Ларсен снова показал свою чудовищную силу. Все произошло неожиданно, с быстротой молнии. Одним прыжком – футов в шесть, не меньше, – он кинулся на юнгу и ударил его кулаком в живот. В тот же миг я почувствовал острую боль под ложечкой, словно он ударил меня. Я упоминаю об этом, чтобы показать, как чувствительны были в то время мои нервы и как подобные грубые сцены были мне непривычны. Юнга, – а он, кстати сказать, весил никак не менее ста шестидесяти пяти фунтов, – согнулся пополам. Его тело безжизненно повисло на кулаке Ларсена, словно мокрая тряпка на палке. Затем я увидел, как он взлетел на воздух, описал дугу и рухнул на палубу рядом с трупом, ударившись о доски головой и плечами. Так он и остался лежать, корчась от боли.

– Ну как? – повернулся вдруг Ларсен ко мне. – Вы обдумали?

Я поглядел на приближавшуюся шхуну, которая уже почти поравнялась с нами; ее отделяло от нас не более двухсот ярдов. Это было стройное, изящное суденышко. Я различил крупный черный номер на одном из парусов и, припомнив виденные мною раньше изображения судов, сообразил, что это лоцманский бот.

– Что это за судно? – спросил я.

– Лоцманский бот «Леди Майн», – ответил Ларсен. – Доставил своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. При таком ветре будет там через пять-шесть часов.

– Будьте добры дать им сигнал, чтобы они переправили меня на берег.

– Очень сожалею, но я уронил свою сигнальную книгу за борт, – ответил капитан, и в группе охотников послышался смех.

Секунду я колебался, глядя ему прямо в глаза. Я видел, как жестоко разделался он с юнгой, и знал, что меня, быть может, ожидает то же самое, если еще не похуже что-нибудь. Повторяю, я колебался, а потом сделал то, что до сих пор считаю самым смелым поступком в моей жизни. Я бросился к борту и, размахивая руками, крикнул:

– «Леди Майн», эй! Свезите меня на берег. Тысячу долларов за доставку на берег!

Я впился взглядом в двоих людей, стоявших у штурвала. Один из них правил, другой поднес к губам рупор. Я не поворачивал головы и каждую секунду ждал, что человек-зверь, стоявший за моей спиной, одним ударом уложит меня на месте. Наконец – мне показалось, что прошли века, – я не выдержал и оглянулся. Ларсен не тронулся с места. Он стоял в той же позе, слегка покачиваясь на расставленных ногах, и раскуривал новую сигару.

– В чем дело? Случилось что-нибудь? – раздалось с «Леди Майн».

– Да! Да! – благим матом заорал я. – Спасите, спасите! Тысячу долларов за доставку на берег!

– Ребятахватили лишнего во Фриско! – раздался голос Ларсена. – Этот вот, – он указал на меня, – допился уже до зеленого змия!

На «Леди Майн» расхохотались в рупор, и судно прошло мимо.

– Высыпьте ему как следует от нашего имени! – долетели напутственные слова, и стоявшие у штурвала помахали руками в знак приветствия.

В отчаянии я облокотился о поручни, глядя, как быстро ширится полоса холодной морской воды, отделяющая нас от стройного маленького судна. Оно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов! У меня голова пошла кругом, сердце отчаянно заколотилось, и к горлу подкатил комок. Пенистая волна ударила о борт, и мне брызнуло в лицо соленой влагой. Ветер налетал порывами, и «Призрак», сильно кренясь, зарывался в воду подветренным бортом. Я слышал, как вода с шипением взбегала на палубу.

Оглянувшись, я увидел юнгу, который с трудом поднимался на ноги. Лицо его было мертвенно бледно и искажено от боли. Я понял, что ему очень плохо.

– Ну, Лич, идешь на бак? – спросил капитан.

– Есть, сэр, – последовал покорный ответ.

– А ты? – повернулся капитан ко мне.

– Я дам вам тысячу... – начал я, но он прервал меня:

– Брось это! Ты согласен приступить к обязанностям юнги? Или мне придется взяться за тебя?

Что мне было делать? Дать зверски избить себя, может быть, даже убить – какой от этого прок? Я твердо посмотрел в жесткие серые глаза. Они походили на гранитные глаза изваяния – так мало было в них человеческого тепла. Обычно в глазах людей отражаются их душевные движения, но эти глаза были бесстрастны и холодны, как свинцово-серое море.

– Ну, что?

– Да, – сказал я.

– Скажи: да, сэр.

– Да, сэр, – поправился я.

– Как тебя зовут?

– Ван-Вейден, сэр.

– Имя?

– Хэмфри, сэр. Хэмфри Ван-Вейден.

– Возраст?

– Тридцать пять, сэр.

– Ладно. Пойди к коку, он тебе покажет, что ты должен делать.

Так случилось, что я, помимо моей воли, попал в рабство к Волку Ларсену. Он был сильнее меня, вот и все. Но в то время это казалось мне каким-то наваждением. Да и сейчас, когда я оглядываюсь на прошлое, все, что приключилось тогда со мной, представляется мне совершенно невероятным. Таким будет это представляться мне и впредь – чем-то чудовищным и непостижимым, каким-то ужасным кошмаром.

– Подожди!

Я послушно остановился, не дойдя до камбуза.

– Иогансен, вызови всех наверх! Теперь все как будто стало на свое место и можно заняться похоронами и очистить палубу от ненужного хлама.

Пока Иогансен собирал команду, двое матросов, по указанию капитана, положили зашитый в парусину труп на лючину. У обоих бортов на палубе, днищами вверх, были принаитовлены маленькие шлюпки. Несколько матросов подняли доску с ее страшным грузом и положили на эти шлюпки с подветренной стороны, повернув труп ногами к морю. К ногам привязали принесенный коком мешок с углем.

Похороны на море представлялись мне всегда торжественным, внушающим благоговение обрядом, но то, чему я стал свидетелем, мгновенно развеяло все мои иллюзии. Один из охотников, невысокий темноглазый парень, – я слышал, как товарищи называли его Смоком, – рассказывал анекдоты, щедро сдобренные бранными и непристойными словами. В группе охотников поминутно раздавались взрывы хохота, которые напоминали мне не то вой волков, не то лай псов в преисподней. Матросы, стуча сапогами, собирались на корме. Некоторые из подвахтенных протирали заспанные глаза и переговаривались вполголоса. На лицах матросов застыло мрачное, озабоченное выражение. Очевидно, им мало улыбалось путешествие с этим капитаном, начавшееся к тому же при столь печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Волка Ларсена, и я видел, что они его побаиваются.

Капитан подошел к доске; все обнажили головы. Я присматривался к людям, собравшимся на палубе, – их было двадцать человек; значит, всего на борту шхуны, если считать рулевого и меня, находилось двадцать два человека. Мое любопытство было простительно, так как мне предстояло, по-видимому, не одну неделю, а быть может, и не один месяц, провести вместе с этими людьми в этом крошечном плавучем мирке. Большинство матросов были англичане или скандинавы, с тяжелыми, малоподвижными лицами. Лица охотников, изборожденные резкими морщинами, были более энергичны и интересны, и на них лежала печать необузданной игры страстей. Странно сказать, но, как я сразу же отметил, в чертах Волка Ларсена не было ничего порочного. Его лицо тоже избородили глубокие морщины, но они говорили лишь о решимости и силе воли. Выражение лица было скорее даже прямодушное, открытое, и впечатление это усиливалось благодаря тому, что он был гладко выбрит. Не верилось – до следующего столкновения, – что это тот самый человек, который так жестоко обошелся с юнгой.

Вот он открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот миг резкий порыв ветра налетел на шхуну, сильно ее накренив. Ветер дико свистел и завывал в снастях. Некоторые из охотников тревожно поглядывали на небо. Подветренный борт, у которого лежал покойник, зарылся в воду, и, когда шхуна выпрямилась, волна перекатилась через палубу, захлестнув нам ноги выше щиколотки. Внезапно хлынул ливень; тяжелые крупные капли били, как градины. Когда шквал пронесся, капитан заговорил, и все слушали его, обнажив головы, покачиваясь в такт с ходившей под ногами палубой.

– Я помню только часть похоронной службы, – сказал Ларсен. – Она гласит: «И тело да будет предано морю». Так вот и бросьте его туда.

Он умолк. Люди, державшие лючину, были смущены; краткость церемонии, видимо, озадачила их. Но капитан яростно на них накинулся:

– Поднимайте этот конец, черт бы вас подрал! Какого дьявола вы канителитесь?

Кто-то торопливо подхватил конец доски, и мертвец, выброшенный за борт, словно собака, соскользнул в море ногами вперед. Мешок с углем, привязанный к ногам, потянул его вниз. Он исчез.

– Иогансен, – резко крикнул капитан своему новому помощнику, – оставь всех наверху, раз уж они здесь. Убрать топселя и кливера, да поживей! Надо ждать зюйд-оста. Заодно возьми рифы у грота! И у стакселя!

Вмиг всё на палубе пришло в движение. Иогансен зычно выкрикивал слова команды, матросы выбирали и травили различные снасти, а мне, человеку сугубо сухопутному, все это, конечно, представлялось сплошной неразберихой. Но больше всего поразило меня проявленное этими людьми бессердечие. Смерть человека была для них мелким эпизодом, который канул в вечность вместе с зашитым в парусину трупом и мешком угля, и корабль все так же продолжал свой путь, и работа шла своим чередом. Никто не был взволнован. Охотники уже опять смеялись какому-то непристойному анекдоту Смока. Команда выбирала и травила снасти, двое матросов полезли на мачту. Волк Ларсен всматривался в облачное небо с наветренной стороны. А человек, так жалко окончивший свои дни и так недостойно погребенный, опускался все глубже и глубже на дно.

Ощущение жестокости и неумолимости морской стихии вдруг нахлынуло на меня, и жизнь показалась мне чем-то дешевым и мишурным, чем-то диким и бессмысленным – каким-то нелепым барахтаньем в грязной тине. Я держался за фальшборт у самых вант и смотрел на угрюмые, пенистые волны и низко нависшую грядущую тумана, скрывавшую от нас Сан-Франциско и калифорнийский берег.

Временами налетал шквал с дождем, и тогда и самый туман исчезал из глаз за плотной завесой дождя. А наше странное судно, с его чудовищным экипажем, ныряло по волнам, устремляясь на юго-запад, в широкие, пустынные просторы Тихого океана.

## Глава 4

Все мои старания приспособиться к новой для меня обстановке зверобойной шхуны «Призрак» приносили мне лишь бесконечные страдания и унижения. Магридж, которого команда называла «доктором», охотники – «Томми», а капитан – «коком», изменился, как по волшебству. Перемена в моем положении резко повлияла на его обращение со мной. От прежней угодливости не осталось и следа – теперь он только покрикивал да бранился. Ведь я не был больше изящным джентльменом, с кожей «нежной, как у леди», а превратился в обыкновенного и довольно бестолкового юнгу.

Кок требовал, как это ни смешно, чтобы я называл его «мистер Магридж», а сам, объясняя мне мои обязанности, был невыносимо груб. Помимо обслуживания кают-компаний с выходившими в нее четырьмя маленькими каютами, я должен был помогать ему в камбузе, и мое полное невежество по части мытья кастрюль и чистки картофеля служило для него неиссякаемым источником изумления и насмешек. Он не желал принимать во внимание мое прежнее положение, вернее, жизнь, которую я привык вести. Ему не было до этого никакого дела, и признаюсь, что уже к концу первого дня я ненавидел его сильнее, чем кого бы то ни было в жизни.

Этот первый день был для меня тем труднее, что «Призрак», под зарифленными парусами (с подобными терминами я познакомился лишь впоследствии), нырял в волны, которые насылал на нас «ревуший», как выразился мистер Магридж, зюйд-ост. В половине шестого я, по указанию кока, накрыл стол в кают-компании, предварительно установив по краям его решетку на случай бурной погоды, а затем начал подавать еду и чай. В связи с этим не могу не рассказать о своем первом близком знакомстве с сильной морской качкой.

– Гляди в оба, не то окатит! – напутствовал меня мистер Магридж, когда я выходил из камбуза с большим чайником в руке и с несколькими караваемы свежеспеченного хлеба под мышкой. Один из охотников, долговязый парень по имени Гендерсон, направлялся в это время из «четвертого класса» (так называли они в шутку свой кубрик) в кают-компанию. Волк Ларсен курил на юте свою неизменную сигару.

– Идет, идет! Держись! – закричал кок.

Я остановился, так как не понял, что, собственно, «идет». Дверь камбуза с треском затворилась за мной, а Гендерсон опрометью бросился к вантам и проворно полез по ним вверх, пока не очутился у меня над головой. И только тут я заметил гигантскую волну с пенистым гребнем, высоко взмывшую над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг работал медленно, потому что все здесь было для меня еще ново и необычно. Я понял только, что мне грозит опасность, и застыл на месте, оцепенев от ужаса. Тут Ларсен крикнул мне с юта:

– Держись за что-нибудь, эй, ты... Хэмп<sup>3</sup>!

Но было уже поздно. Я прыгнул к вантам, чтобы уцепиться за них, и в этот миг стена воды обрушилась на меня и все смешалось. Я был под водой, задышался и тонул. Палуба ушла из-под ног, и я куда-то полетел, перевернувшись несколько раз через голову. Меня швыряло из стороны в сторону, ударяло о какие-то твердые предметы, и я сильно ушиб правое колено. Потом волна отхлынула, и мне удалось наконец перевести дух. Я увидел, что меня отнесло с наветренного борта за камбуз мимо люка в кубрик, к шпигатам подветренного борта. Я чувствовал острую боль в колене и не мог ступить на эту ногу, или так, по крайней мере, мне казалось. Я был уверен, что нога сломана. Но кок уже кричал мне из камбуза:

– Эй, ты! Долго ты будешь там валандаться? Где чайник? Уронил за борт? Жаль, что ты не сломал себе шею!

---

<sup>3</sup> Сокращение имени Хэмфри (Humphrey). В то же время намек на сутулость (humpr – горб) людей умственного труда.



Я кое-как поднялся на ноги и заковылял к камбузу. Огромный чайник все еще был у меня в руке, и я отдал его коку. Но Магридж задыхался от негодования – то ли настоящего, то ли притворного.

– Ну и растяпа же ты! Куда ты годишься, хотел бы я знать? А? Куда ты годишься? Не можешь чай донести! А я теперь изволь заваривать снова!

– Да чего ты хнычешь? – с новой яростью набросился он на меня через минуту. – Ножку зашиб? Ах ты, маменькино сокровище!

Я не хныкал, но лицо у меня, вероятно, кривилось от боли. Собравшись с силами, я стиснул зубы и проковылял от камбуза до кают-компания и обратно без дальнейших злоключений. Этот случай имел для меня двоякие последствия: прежде всего я сильно ушиб коленную чашечку и страдал от этого много месяцев – ни о каком лечении, конечно, не могло быть и речи, – а кроме того, за мной утвердилось кличка «Хэмп», которой наградил меня с юта Волк Ларсен. С тех пор никто на шхуне меня иначе и не называл, и я мало-помалу настолько к этому привык, что уже и сам мысленно называл себя «Хэмп», словно получил это имя от рождения.

Нелегко было прислуживать за столом кают-компания, где восседал Волк Ларсен с Иогансеном и шестерыми охотниками. В этой маленькой, тесной каюте двигаться было чрезвычайно трудно, особенно когда шхуну качало и кидало из стороны в сторону. Но тяжелее всего было для меня полное равнодушие людей, которым я прислуживал. Время от времени я ощупывал сквозь одежду колено, чувствовал, что оно пухнет все сильнее и сильнее, и от боли у меня кружилась голова. В зеркале на стене кают-компания временами мелькало мое бледное, страшное, искаженное болью лицо. Сидевшие за столом не могли не заметить моего состояния, но никто из них не выказал мне сочувствия. Поэтому я почти проникся благодарностью к Ларсену, когда он бросил мне после обеда (я в это время уже мыл тарелки):

– Не обращай внимания на эти пустяки! Привыкнешь со временем. Немного, может, и покалечишься, но зато научишься ходить. Это, кажется, называется парадоксом, не так ли? – добавил он.

По-видимому, он остался доволен, когда я, утвердительно кивнув, ответил как полагалось: «Есть, сэр».

– Ты, должно быть, смыслишь кое-что в литературе? Ладно. Я как-нибудь побеседую с тобой.

Он повернулся и, не обращая на меня больше внимания, вышел на палубу.

Вечером, когда я справился наконец с бесчисленным количеством дел, меня послали спать в кубрик к охотникам, где нашлась свободная койка. Я рад был лечь, дать отдых ногам и хоть на время избавиться от несносного кока. Одежда успела высохнуть на мне, и я, к моему удивлению, не ощущал ни малейших признаков простуды ни от последнего морского купанья, ни от более продолжительного пребывания в воде, когда затонул «Мартинес». При обычных обстоятельствах я после подобных испытаний лежал бы, конечно, в постели и около меня хлопотала бы сиделка.

Но боль в колене была мучительной. Насколько я мог понять – так как колено страшно распухло, – у меня была смещена коленная чашечка. Я сидел на своей койке и рассматривал колено (все шесть охотников находились тут же – они курили и громко разговаривали), когда мимо прошел Гендерсон и мельком глянул на меня.

– Скверная штука, – заметил он. – Обвяжи потуже тряпкой, пройдет.

Вот и все; а случись это со мной на суше, меня лечил бы хирург и, несомненно, прописал бы полный покой. Но следует отдать справедливость этим людям. Так же равнодушно относились они и к своим собственным страданиям. Я объясняю это привычкой и тем, что чувствительность у них притупилась. Я убежден, что человек с более тонкой нервной организацией, с более острой восприимчивостью страдал бы на их месте куда сильнее.

Я страшно устал, вернее, совершенно изнемог, и все же боль в колене не давала мне уснуть. С трудом удерживался я от стонов. Дома я, конечно, дал бы себе волю, но эта новая, грубая, примитивная обстановка невольно внушала мне суровую сдержанность. Окружавшие меня люди, подобно дикарям, стоически относились к важным вещам, а в мелочах напоминали детей. Впоследствии мне пришлось наблюдать, как Керфуту, одному из охотников, разmozжило палец. Керфут не только не издал ни звука, но даже не изменился в лице. И вместе с тем я много раз видел, как тот же Керфут приходил в бешенство из-за сущих пустяков.

Вот и теперь он орал, размахивал руками и отчаянно бранился – и все только потому, что другой охотник не соглашался с ним, что тюлений белёк от рождения умеет плавать. Керфут утверждал, что этим умением новорожденный тюлень обладает с первой минуты своего появления на свет, а другой охотник, Лэтимер, тощий янки с хитрыми, похожими на щелочки глазками, утверждал, что тюлень именно потому и рождается на суше, что не умеет плавать, и мать обучает его этой премудрости совершенно так же, как птицы учат своих птенцов летать.

Остальные четыре охотника с большим интересом прислушивались к спору, – кто лежал на койке, кто приподнявшись и облокотясь на стол, – и временами подавали реплики. Иногда они начинали говорить все сразу, и тогда в тесном кубрике голоса их звучали подобно раскатам бутафорского грома. Они спорили о пустяках, как дети, и доводы их были крайне наивны. Собственно говоря, они даже не приводили никаких доводов, а ограничивались голословными утверждениями или отрицаниями. Уменье или неумение новорожденного тюленя плавать они пытались доказать просто тем, что высказывали свое мнение с воинственным видом и сопровождали его выпадами против национальности, здравого смысла или прошлого своего противника. Я рассказываю об этом, чтобы показать умственный уровень людей, с которыми принужден был общаться. Интеллектуально они были детьми, хотя и в обличье взрослых мужчин.

Они беспрерывно курили – курили дешевый зловонный табак. В кубрике нельзя было продохнуть от дыма. Этот дым и сильная качка боровшегося с бурей судна, несомненно, довели бы меня до морской болезни, будь я ей подвержен. Я и так уже испытывал дурноту, хотя, быть может, причиной ее были боль в ноге и переутомление.

Лежа на койке и предаваясь своим мыслям, я, естественно, прежде всего задумывался над положением, в которое попал. Это же было невероятно, неслыханно! Я, Хэмфри Ван-Вейден, ученый и, с вашего позволения, любитель искусства и литературы, принужден валяться здесь, на какой-то шхуне, направляющейся в Берингово море бить котиков! Юнга! Никогда в жизни я не делал грубой физической, а тем более кухонной работы. Я всегда вел тихий, монотонный, сидячий образ жизни. Это была жизнь ученого, затворника, существующего на приличный и обеспеченный доход. Бурная деятельность и спорт никогда не привлекали меня. Я был книжным червем, так сестры и отец с детства и называли меня. Только раз в жизни я принял участие в туристском походе, да и то сбежал в самом начале и вернулся к комфорту и удобствам оседлой жизни. И вот теперь передо мной открывалась безрадостная перспектива бесконечной чистки картофеля, мытья посуды и прислуживания за столом. А ведь физически я совсем не был силен. Врачи, положим, утверждали, что у меня великолепное телосложение, но я никогда не развивал своих мускулов упражнениями, и они были слабы и вялы, как у женщины. По крайней мере, те же врачи постоянно отмечали это, пытаясь убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять свою голову, а не тело и теперь был, конечно, совершенно не подготовлен к предстоявшей мне тяжелой жизни.

Я рассказываю лишь немного из того, что передумал тогда, и делаю это, чтобы заранее оправдаться; ибо жалкой и беспомощной была та роль, которую мне предстояло сыграть.

Думал я также о моей матери и сестрах и ясно представлял себе их горе. Ведь я значился в числе погибших на «Мартинесе», одним из пропавших без вести. Передо мной мелькали заголовки газет, я видел, как мои приятели в университетском клубе покачивают головой и вздыхают: «Вот бедняга!» Видел я и Чарли Фэрасета в минуту прощания, в то роковое утро,

когда он в халате на мягком диванчике под окном изрекал, словно оракул, свои скептические афоризмы.

А тем временем шхуна «Призрак», покачиваясь, ныряя, взбираясь на движущиеся водяные валы и скатываясь в бурлящие пропасти, прокладывала себе путь все дальше и дальше – к самому сердцу Тихого океана... и уносила меня с собой. Я слышал, как над морем бушует ветер. Его приглушенный вой долетал и сюда. Иногда над головой раздавался топот ног по палубе. Кругом все стонало и скрипело, деревянные крепления трещали, кряхтели, визжали и жаловались на тысячу ладов. Охотники все еще спорили и рычали друг на друга, словно какие-то человекоподобные земноводные. Ругань висела в воздухе. Я видел их разгоряченные лица в искажающем, тускло-желтом свете ламп, раскачивавшихся вместе с кораблем. В облаках дыма койки казались логовищами диких зверей. На стенах висели клеенчатые штаны и куртки и морские сапоги; на полках кое-где лежали дробовики и винтовки. Все это напоминало картину из жизни пиратов и морских разбойников былых времен. Мое воображение разыгралось и не давало мне уснуть. Это была долгая, долгая, томительная и тоскливая, очень долгая ночь.

## Глава 5

Первая ночь, проведенная мною в кубрике охотников, оказалась также и последней. На другой день новый помощник Иогансен был изгнан капитаном из его каюты и переселен в кубрик к охотникам. А мне велено было перебраться в крохотную каютку, в которой до меня в первый же день плавания сменилось уже два хозяина. Охотники скоро узнали причину этих перемещений и остались ею очень недовольны. Выяснилось, что Иогансен каждую ночь вслух переживает во сне все свои дневные впечатления. Волк Ларсен не пожелал слушать, как он непрестанно что-то бормочет и выкрикивает слова команды, и предпочел переложить эту неприятность на охотников.

После бессонной ночи я встал слабый и измученный. Так начался второй день моего пребывания на шхуне «Призрак». Томас Магридж растолкал меня в половине шестого не менее грубо, чем Билл Сайкс<sup>4</sup> будил свою собаку. Но за эту грубость ему тут же отплатили с лихвой. Поднятый им без всякой надобности шум – я за всю ночь так и не сомкнул глаз – потревожил кого-то из охотников. Тяжелый башмак просвистел в полутьме, и мистер Магридж, взыв от боли, начал униженно рассыпаться в извинениях. Потом в камбузе я увидел его окровавленное и распухшее ухо. Оно никогда уже больше не приобрело своего нормального вида, и матросы стали называть его после этого «капустным листом».

Этот день был полон для меня самых разнообразных неприятностей. Уже с вечера я взял из камбуза свое высохшее платье и теперь первым делом поспешил сбросить с себя вещи кока, а затем стал искать свой кошелек. Кроме мелочи (у меня на этот счет хорошая память), там лежало сто восемьдесят пять долларов золотом и бумажками. Кошелек я нашел, но все его содержимое, за исключением мелких серебряных монет, исчезло. Я заявил об этом коку, как только поднялся на палубу, чтобы приступить к своей работе в камбузе, и хотя и ожидал от него грубого ответа, однако свирепая отповедь, с которой он на меня обрушился, совершенно меня ошеломила.

– Вот что, Хэмп, – захрипел он, злобно сверкая глазами. – Ты что, хочешь, чтобы тебе пустили из носу кровь? Если ты считаешь меня вором, держи это про себя, а не то крепко пожалеешь о своей ошибке, черт тебя подери! Вот она, твоя благодарность, чтоб я пропал! Я тебя пригрел, когда ты совсем подыхал, взял к себе в камбуз, возился с тобой, а ты так мне отплатил? Проваливай ко всем чертям, вот что! У меня руки чешутся показать тебе дорогу.

Сжав кулаки и продолжая кричать, он двинулся на меня. К стыду своему, должен признаться, что я, увернувшись от удара, выскочил из камбуза. Что мне было делать? Сила, грубая сила царила на этом подлом судне. Читать мораль было здесь не в ходу. Вообразите себе человека среднего роста, худощавого, со слабыми, неразвитыми мускулами, привыкшего к тихой, мирной жизни, незнакомого с насилием... Что такой человек мог тут поделать? Вступать в драку с озверевшим коком было так же бессмысленно, как сражаться с разъяренным быком.

Так думал я в то время, испытывая потребность в самооправдании и желая успокоить свое самолюбие. Но такое оправдание не удовлетворило меня, да и сейчас, вспоминая этот случай, я не могу полностью себя обелить. Положение, в которое я попал, не укладывалось в обычные рамки и не допускало рациональных поступков – тут надо было действовать не рассуждая. И хотя логически мне, казалось, абсолютно нечего было стыдиться, я тем не менее всякий раз испытываю стыд при воспоминании об этом эпизоде, ибо чувствую, что моя мужская гордость была поправа и оскорблена.

---

<sup>4</sup> Билл Сайкс – персонаж из романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист».

Однако все это не относится к делу. Я удирал из камбуза с такой поспешностью, что почувствовал острую боль в колене и в изнеможении опустился на палубу у переборки юта. Но кок не стал преследовать меня.

– Гляньте на него! Ишь как улепetyвает! – услышал я его насмешливые возгласы. – А еще с больной ногой! Иди назад, бедняжка, маменькин сынок! Не трону, не бойся!

Я вернулся и принялся за работу. На этом дело пока и кончилось, однако оно имело свои последствия. Я накрыл стол в кают-компании и в семь часов подал завтрак. Буря за ночь улеглась, но волнение было все еще сильное и дул свежий ветер. «Призрак» мчался под всеми парусами, кроме обоих топселей и бом-кливера. Паруса были поставлены в первую вахту, и, как я понял из разговора, остальные три паруса тоже решено было поднять сейчас же после завтрака. Я узнал также, что Волк Ларсен старается использовать этот шторм, который гнал нас на юго-запад в ту часть океана, где мы могли встретить северо-восточный пассат. Под этим постоянным ветром Ларсен рассчитывал пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем на юг к тропикам, а потом у берегов Азии повернуть опять на север.

После завтрака меня ожидало новое и также довольно незавидное приключение. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в кают-компании золу и вынес ее на палубу, чтобы выбросить за борт. Волк Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у штурвала. На руле стоял матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, он мотнул головой, и я принял это за утреннее приветствие. А он пытался предостеречь меня, чтобы я не выбрасывал золу против ветра. Ничего не подозревая, я прошел мимо Волка Ларсена и охотника и высыпал золу за борт. Ветер подхватил ее, и не только я сам, но и капитан с Гендерсоном оказались осыпанными золой. В тот же миг Ларсен ударил меня ногой, как щенка. Я никогда не представлял себе, что пинок ногой может быть так ужасен. Я отлетел назад и, шатаясь, прислонился к рубке, едва не лишившись сознания от боли. Все поплыло у меня перед глазами, к горлу подступила тошнота. Я сделал над собой усилие и подполз к борту. Но Волк Ларсен уже забыл про меня. Стряхнув с платья золу, он возобновил разговор с Гендерсоном. Иогансен, наблюдавший все это с юта, послал двух матросов прибрать палубу.

Несколько позже в то же утро я столкнулся с неожиданностью совсем другого свойства. Следуя указаниям кока, я отправился в капитанскую каюту, чтобы прибрать ее и застелить койку. На стене, у изголовья койки, висела полка с книгами. С изумлением прочел я на корешках имена Шекспира, Теннисона, Эдгара По и Де-Куинси. Были там и научные сочинения, среди которых я заметил труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Кроме того, я увидел «Мифический век» Булфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу, «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах и несколько грамматик – Меткалфа, Гида и Келлога. Я не мог не улыбнуться, когда на глаза мне попался экземпляр «Английского языка для проповедников».

Наличие этих книг никак не вязалось с обликом их владельца, и я не мог не усомниться в том, что он способен читать их. Но, застеляя койку, я обнаружил под одеялом томик Брунинга в кембриджском издании – очевидно, Ларсен читал его перед сном. Он был открыт на стихотворении «На балконе», и я заметил, что некоторые места подчеркнуты карандашом. Шхуну качнуло, я выронил книгу, и из нее выпал листок бумаги, испещренный геометрическими фигурами и какими-то выкладками.

Значит, этот ужасный человек совсем не такой уж неуч, как можно было предположить, наблюдая его звериные выходки. И он сразу стал для меня загадкой. Обе стороны его натуры в отдельности были вполне понятны, но их сочетание казалось непостижимым. Я уже успел заметить, что Ларсен говорит превосходным языком, в котором лишь изредка проскальзывают не совсем правильные обороты. Если в разговоре с матросами и охотниками он и позволял себе жаргонные выражения, то в тех редких случаях, когда он обращался ко мне, его речь была точна и правильна.



Узнав его теперь случайно с другой стороны, я несколько осмелел и решился сказать ему, что у меня пропали деньги.

– Меня обокрали, – обратился я к нему, увидав, что он в одиночестве расхаживает по палубе.

– Сэр, – поправил он меня не грубо, но внушительно.

– Меня обокрали, сэр, – повторил я.

– Как это случилось? – спросил он.

Я рассказал ему, что оставил свое платье сушиться в камбузе, а потом кок чуть не избил меня, когда я заикнулся ему о пропаже.

Волк Ларсен выслушал меня и усмехнулся.

– Кок поживился, – решил он. – Но не кажется ли вам, что ваша жалкая жизнь стоит все же этих денег? Кроме того, это для вас урок. Научитесь, в конце концов, сами заботиться о своих деньгах. До сих пор, вероятно, это делал за вас ваш поверенный или управляющий.

Я почувствовал насмешку в его словах, но все же спросил:

– Как мне получить их назад?

– Это ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни управляющего, остается полагаться только на самого себя. Если вам перепадет доллар, держите его крепче. Тот, у кого деньги валяются где попало, заслуживает, чтобы его обокрали. К тому же вы еще и согрешили. Вы не имеете права искушать ближних. А вы соблазнили кока, и он пал. Вы подвергли опасности его бессмертную душу. Кстати, верите ли вы в бессмертие души?

При этом вопросе веки его лениво приподнялись, и мне показалось, что отдернулась какая-то завеса и я на мгновение заглянул в его душу. Но это была иллюзия. Я уверен, что ни одному человеку не удавалось проникнуть взглядом в душу Волка Ларсена. Это была одинокая душа, как мне довелось впоследствии убедиться. Волк Ларсен никогда не снимал маски, хотя порой любил играть в откровенность.

– Я читаю бессмертие в ваших глазах, – отвечал я и для опыта пропустил «сэр»; известная интимность нашего разговора, казалось мне, допускала это.

Ларсен действительно не придавал этому значения.

– Вы, я полагаю, хотите сказать, что видите в них нечто живое. Но это живое не будет жить вечно.

– Я читаю в них значительно больше, – смело продолжал я.

– Ну да – сознание. Сознание, постижение жизни. Но не больше, не бесконечность жизни.

Он мыслил ясно и хорошо выражал свои мысли. Не без любопытства оглядев меня, он отвернулся и устремил взор на свинцовое море. Глаза его потемнели, и у рта обозначились резкие, суровые линии. Он явно был мрачно настроен.

– А какой в этом смысл? – отрывисто спросил он, снова повернувшись ко мне. – Если я наделен бессмертием, то зачем?

Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как передать словами что-то неопределенное, похожее на музыку, которую слышишь во сне? Нечто вполне убедительное для меня, но не поддающееся определению.

– Во что же вы тогда верите? – в свою очередь спросил я.

– Я верю, что жизнь – нелепая суета, – быстро ответил он. – Она похожа на закваску, которая бродит минуты, часы, годы или столетия, но рано или поздно перестает бродить. Большие пожирают малых, чтобы поддержать свое брожение. Сильные пожирают слабых, чтобы сохранить свою силу. Кому везет, тот ест больше и бродит дольше других, – вот и все! Вон поглядите – что вы скажете об этом?

Нетерпеливым жестом он показал на группу матросов, которые возились с тросами посреди палубы.

– Они копошатся, движутся, но ведь и медузы движутся. Движутся для того, чтобы есть, и едят для того, чтобы продолжать двигаться. Вот и вся штука! Они живут для своего брюха, а брюхо поддерживает в них жизнь. Это замкнутый круг; двигаясь по нему, никуда не попадешь. Так с ними и происходит. Рано или поздно движение прекращается. Они больше не копошатся. Они мертвы.

– У них есть мечты, – прервал я, – сверкающие, лучезарные мечты о...

– О жратве, – решительно прервал он меня.

– Нет, и еще...

– И еще о жратве. О большой удаче – как бы побольше и послаще пожрать. – Голос его звучал резко. В нем не было и тени шутки. – Будьте уверены, они мечтают об удачных плаваниях, которые дадут им больше денег; о том, чтобы стать капитанами кораблей или найти клад, – короче говоря, о том, чтобы устроиться получше и иметь возможность высасывать соки из своих ближних, о том, чтобы самим всю ночь спать под крышей и хорошо питаться, а всю грязную работу переложить на других. И мы с вами такие же. Разницы нет никакой, если не считать того, что мы едим больше и лучше. Сейчас я пожираю их и вас тоже. Но в прошлом вы ели больше моего. Вы спали в мягких постелях, носили хорошую одежду и ели вкусные блюда. А кто сделал эти постели, и эту одежду, и эти блюда? Не вы. Вы никогда ничего не делали в поте лица своего. Вы живете с доходов, оставленных вам отцом. Вы, как птица фрегат, бросаетесь с высоты на бакланов и похищаете у них пойманную ими рыбешку. Вы – одно целое с кучкой людей, создавших то, что они называют «государством», и властвующих над всеми остальными людьми и пожирающих пищу, которую те добывают и сами не прочь были бы съесть. Вы носите теплую одежду, а те, кто сделал эту одежду, дрожат от холода в лохмотьях и еще должны вымаливать у вас работу – у вас или у вашего поверенного или управляющего, – словом, у тех, кто распоряжается вашими деньгами.

– Но это совсем другой вопрос! – воскликнул я.

– Вовсе нет! – Капитан говорил быстро, и глаза его сверкали. – Это свинство, и это... жизнь. Какой же смысл в бессмертии свинства? К чему все это ведет? Зачем все это нужно? Вы не создаете пищи, а между тем пища, съеденная или выброшенная вами, могла бы спасти жизнь десяткам несчастных, которые эту пищу создают, но не едят. Какого бессмертия заслужили вы? Или они? Возьмите нас с вами. Чего стоит ваше хваленое бессмертие, когда ваша жизнь столкнулась с моей? Вам хочется назад, на сушу, так как там раздолье для привычного вам свинства. По своему капризу я держу вас на этой шхуне, где процветает мое свинство. И буду держать. Я или сломаю вас, или переделаю. Вы можете умереть здесь сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы одним ударом кулака убить вас – ведь вы жалкий червяк. Но если мы бессмертны, то какой во всем этом смысл? Вести себя всю жизнь по-свински, как мы с вами, – неужели это к лицу бессмертным? Так для чего же это все? Почему я держу вас тут?

– Потому что вы сильнее, – выпалил я.

– Но почему я сильнее? – не унимался он. – Потому что во мне больше этой закваски, чем в вас. Неужели вы не понимаете? Неужели не понимаете?

– Но жить так – это же безнадежность! – воскликнул я.

– Согласен с вами, – отвечал он. – И зачем оно нужно вообще, это брожение, которое есть сущность жизни? Не двигаться, не быть частицей жизненной закваски, – тогда не будет и безнадежности. Но в этом-то все и дело: мы хотим жить и двигаться, несмотря на всю бессмысленность этого, хотим, потому что это заложено в нас природой, – стремление жить и двигаться, бродить. Без этого жизнь остановилась бы. Вот эта жизнь внутри вас и заставляет вас мечтать о бессмертии. Жизнь внутри вас стремится быть вечной. Эх! Вечность свинства!

Он круто повернулся на каблуках и пошел на корму, но, не дойдя до края юта, остановился и подозвал меня.

– Кстати, на какую сумму обчистил вас кок? – спросил он.

– На сто восемьдесят пять долларов, сэр, – отвечал я.

Он молча кивнул. Минутой позже, когда я спускался по трапу накрывать на стол к обеду, я слышал, как он уже разносит кого-то из матросов.

## Глава 6

Наутро шторм, обессилев, стих, и «Призрак» тихо покачивался на безбрежной глади океана. Лишь изредка в воздухе чувствовалось легкое дуновение, и капитан не покидал палубы и все поглядывал на северо-восток, откуда должен был прийти пассат.

Весь экипаж тоже был на палубе – готовил шлюпки к предстоящему охотничьему сезону. На шхуне имелось семь шлюпок: шесть охотничьих и капитанский тузик. Команда каждой шлюпки состояла из охотника, гребца и рулевого. На борту шхуны в команду входили только гребцы и рулевые, но вахтенную службу должны были нести и охотники, которые тоже находились в распоряжении капитана.

Все это я узнавал мало-помалу, – это и многое другое. «Призрак» считался самой быстроходной шхуной в промысловых флотилиях Сан-Франциско и Виктории. Когда-то это была частная яхта, построенная с расчетом на быстроходность. Ее обводы и оснастка – хотя я и мало смыслил в этих вещах – сами говорили за себя. Вчера во время второй вечерней полувахты мы с Джонсоном немного поболтали, и он рассказал мне все, что ему было известно о нашей шхуне. Он говорил восторженно, с такой любовью к хорошим кораблям, с какой иные говорят о лошадях. Но от плавания он не ждал добра и дал мне понять, что Волк Ларсен пользуется очень скверной репутацией среди прочих капитанов промысловых судов. Только желание поплавать на «Призраке» соблазнило Джонсона подписать контракт, но он уже начинал жалеть об этом.

Джонсон сказал мне, что «Призрак» – восьмидесятитонная шхуна превосходной конструкции. Наибольшая ширина ее – двадцать три фута, а длина превышает девяносто. Необычайно тяжелый свинцовый фальшкиль (вес его точно неизвестен) придает ей большую остойчивость и позволяет нести огромную площадь парусов. От палубы до клотика грот-стенгги больше ста футов, тогда как фок-мачта вместе со стеньгой футов на десять короче. Я привожу все эти подробности для того, чтобы можно было представить себе размеры этого плавучего мирка, носившего по океану двадцать два человека. Это был крошечный мирок, пятнышко, точка, и я дивился тому, как люди осмеливаются пускаться в море на таком маленьком, хрупком сооружении.

Волк Ларсен славился своей безрассудной смелостью в плавании под парусами. Я слышал, как Гендерсон и еще один охотник – калифорниец Стэндиш – толковали об этом. Два года назад Ларсен потерял мачты на «Призраке», попав в шторм в Беринговом море, после чего и были поставлены теперешние – более прочные и тяжелые. Когда их устанавливали, Ларсен заявил, что предпочитает перевернуться, нежели снова потерять мачты.

За исключением Иогансена, упоенного своим повышением, на борту не было ни одного человека, который не подыскивал бы оправдания своему поступлению на «Призрак». Половина команды состояла из моряков дальнего плавания, и они утверждали, что ничего не знали ни о шхуне, ни о капитане; а те, кто был знаком с положением вещей, потихоньку говорили, что охотники – прекрасные стрелки, но такая буйная и продувная компания, что ни одно приличное судно не взяло бы их в плавание.

Я познакомился еще с одним матросом, по имени Луис, круглолицым веселым ирландцем из Новой Шотландии, который всегда был рад поболтать, лишь бы его слушали. После обеда, когда кок спал внизу, а я чистил свою неизменную картошку, Луис зашел в камбуз «почесать языком». Этот малый объяснял свое пребывание на судне тем, что был пьян, когда подписывал контракт; он без конца уверял меня, что ни за что на свете не сделал бы этого в трезвом виде. Как я понял, он уже лет десять каждый сезон выезжает бить котиков и считается одним из лучших шлюпочных рулевых в обеих флотилиях.

– Эх, дружище, – сказал он, мрачно покачив головой, – хуже этой шхуны не сыскать, а ведь ты не был пьян, как я, когда попал сюда! Охота на котиков – это рай для моряка, но только

не на этом судне. Помощник положил начало, но, помани мое слово, у нас будут и еще покойники до конца плавания. Между нами говоря, этот Волк Ларсен сущий дьявол, и «Призрак» тоже стал адовой посудиною, с тех пор как попал к этому капитану. Что я, не знаю, что ли! Не помню я разве, как два года назад в Хакодате у него взбунтовалась команда и он застрелил четырех матросов. Я-то в то время плавал на «Эмме Л.», – мы стояли на якоре в трехстах ярдах от «Призрака». И еще в том же году он убил человека одним ударом кулака. Да, да, так и уложил на месте! Хватил по голове, и она треснула, как яичная скорлупа. А что он выкинул с губернатором острова Кура и с начальником тамошней полиции! Эти два японских джентльмена явились к нему на «Призрак» в гости, и с ними были их жены – хорошенькие, словно куколки. Ну, точь-в-точь как рисуют на веерах. А когда пришло время сниматься с якоря, он спустил мужей в их сампан и будто случайно не успел спустить жен. Через неделю этих бедняжек высадили на берег по другую сторону острова, и ничего им не оставалось, как брести домой через горы в своих игрушечных соломенных сандалиях, которых не могло хватить и на одну милю. Что я, не знаю, что ли! Зверь он, этот Волк Ларсен, вот что! Зверь, о котором еще в Апокалипсисе сказано. И добром он не кончит... Только помни, я тебе ничего не говорил! И словечка не шепнул. Потому что старый толстый Луис поклялся вернуться живым из этого плавания, даже если все остальные пойдут на корм рыбам.

– Волк Ларсен! – помолчав, заворчал он снова. – Даром, что ли, его так зовут! Да, он волк, настоящий волк! Бывает, что у человека каменное сердце, а у этого и вовсе сердца нет. Волк, просто волк, и все тут! Верно ведь, эта кличка здорово ему пристала?

– Но если его так хорошо знают, – возразил я, – как же ему удастся набирать себе экипаж?

– А как это всегда находят людей на какую угодно работу, хоть на земле, хоть на море? – с кельтской горячностью возразил Луис. – Разве ты увидел бы меня на борту этой шхуны, если бы я не был пьян, как свинья, когда подмахнул контракт?

Кое-кто здесь – такой народ, что им не попасть на порядочное судно. Взять хоть наших охотников. А другие, бедняги, матросня с бака, сами не знали, куда они нанимаются. Ну да они еще узнают! Узнают и проклянут тот день, когда родились на свет! Жаль мне их, но я должен прежде всего думать о толстом старом Луисе и о том, что его ждет. Только, смотри, молчок! Я тебе ни слова не говорил.

Эти охотники – порядочная дрянь, – через минуту начал он снова, так как отличался необычайной словоохотливостью. – Дай срок, они еще разойдутся и покажут себя. Ну да Ларсен живо их скрутит. Только он и может нагнать на них страху. Вот, возьми хоть моего охотника Хорнера. Уж такая тихоня с виду – спокойный да вежливый, прямо как барышня, воды, кажется, не замутит. А ведь в прошлом году уколошил своего рулевого. Несчастный случай, и все. Но я встретил потом в Июкогаме гребца, и он рассказал мне, как дело было. А этот маленький чернявый проходимец Смок – ведь он отбыл три года на сибирских соляных копях за браконьерство. Охотился в русском заповеднике на Медном острове. Его там сковали нога с ногой и рука с рукой с другим каторжником. Так вот на работе между ними что-то вышло, и Смок отправил своего товарища из шахты вверх в бадьях с солью. Только отправлял он его по частям: сегодня – ногу, завтра – руку, послезавтра – голову...

– Что вы такое говорите! – в ужасе вскричал я.

– Что я говорю? – резко прервал он меня. – Ничего я не говорю. Я глух и нем и другим советую помалкивать, если им жизнь дорога. Что я говорил? Да только что все они замечательные ребята и он тоже, чтоб его черт побрал, чтоб ему гнить в чистилище десять тысяч лет, а потом провалиться в самую преисподнюю!

Джонсон, матрос, который чуть не содрал с меня кожу, когда я впервые попал на борт, казался мне наиболее прямодушным из всей команды. Это была простая, открытая натура. Его честность и мужественность бросались в глаза, и в то же время он был очень скромн, почти робок. Однако робким его все же нельзя было назвать. Чувствовалось, что он способен

отстаивать свои взгляды и обладает чувством собственного достоинства. Мне запомнилась моя первая встреча с ним и то, как он не пожелал, чтобы коверкали его фамилию. О нем и об этих его особенностях Луис высказался так (слова его звучали пророчеством):

– Славный малый этот швед Джонсон, лучший матрос на баке. Он гребцом у нас на шлюпке. Но с Волком Ларсеном у него дойдет до беды – это как пить дать. Уж я-то знаю! Я вижу, как надвигается буря. Я говорил с Джонсоном по-братски, но он не желает тушить огни и вывешивать фальшивые сигналы. Чуть что не по нем, начинает ворчать, а на судне всегда найдется гад, который донесет на него. Волк силен, а эта волчья порода не терпит силы в других. Он видит, что и Джонсон силен и его не согнуть, – этот не станет благодарить и кланяться, если его обложат или влепят по морде. Эх, быть беде! Быть беде! И бог весть где я возьму тогда другого гребца! Вы знаете, что сделал этот дурак, когда старик назвал его «Ионсон». «Меня зовут Джонсон, сэр», – поправляет он капитана да еще начинает выговаривать это буква за буквой. Вы бы поглядели на старика! Я думал, он пристукнет его на месте. Ну, на этот раз он его не убил, но он еще обломает этого шведа, или я мало смыслю в том, что бывает у нас на море.

Томас Магридж становится невыносим. Я должен величать его «мистер» и «сэр», прибавлять это к каждому слову. Обнаглел он так отчасти потому, что Волк Ларсен, видимо, к нему благоволит. Вообще это неслыханная вещь, на мой взгляд, – чтобы капитан водил дружбу с коком, но таков каприз Волка Ларсена. Уже два или три раза случалось, что он просовывал голову в камбуз и принимался благодушно поддразнивать кока. А сегодня после обеда минут пятнадцать болтал с ним на юте. После этой беседы Магридж вернулся в камбуз, сияя и гадко ухмыляясь во весь рот, и за работой все время напевал себе под нос какие-то уличные песенки чудовищно гнусавым фальцетом.

– Я умею ладить с начальством, – разоткровенничался он со мной. – Знаю, как себя с ним вести, и меня всюду ценят. Вот хотя бы с последним шкипером – я, когда хотел, запросто заходил к нему в каюту поболтать и пропустить стаканчик. «Магридж, – говорил он мне, – Магридж, а ведь ты ошибся в своем призвании!» – «А что это за призвание?» – спрашиваю. «Ты должен был родиться джентльменом, чтобы тебе никогда не пришлось своим трудом зарабатывать на жизнь». Убей меня бог, Хэмп, если он не сказал так – слово в слово! А я слушаю его и сижу у него в каюте, как у себя дома, курю его сигары и пью его ром!

Эта болтовня доводила меня до иступления. Никогда еще ничей голос не был мне так ненавистен. Масленный, вкрадчивый тон кока, его гаденькая улыбочка, его невероятное самонимение так действовали мне на нервы, что меня бросало в дрожь. Это была, безусловно, самая омерзительная личность, какую я когда-либо встречал. К тому же он был неописуемо нечистоплотен, а так как вся пища проходила через его руки, то я, мучимый брезгливостью, старался есть то, к чему он меньше прикасался.

Мои руки, не привыкшие к грубой работе, доставляли мне много мучений. Грязь так въелась в кожу, что я не мог отмыть ее даже щеткой. Ногти почернели и обломались, на ладонях выскочили волдыри, а однажды, потеряв равновесие во время качки и привалившись к плите, я сильно обжег себе локоть. Колено тоже продолжало болеть. Опухоль держалась, и коленная чашечка все еще не стала на место. С утра до ночи я должен был ковылять по кораблю, и это отнюдь не приносило пользы моей искалеченной ноге. Я знал, что ей необходим отдых.

Отдых! Раньше я не понимал по-настоящему значения этого слова. Ведь я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы мне удалось посидеть полчасика, ничего не делая, не думая ни о чем, это показалось бы мне величайшим блаженством на свете. Зато все это явилось для меня как бы откровением. Да, теперь я знаю, каково приходится трудовому люду! Мне и не снилось, что работа может быть так чудовищно тяжела. С половины шестого утра и до десяти вечера я раб всех и каждого и не имею ни минуты для себя, кроме тех кратких мгновений, которые удастся урвать в конце вечерней вахты. Стоит мне залюбоваться на миг сверкающим на солнце морем или заглядеться, как один матрос бежит по бушприту, а

другой карабкается вверх по вантам, и тотчас за моей спиной раздаётся ненавистный голос: «Эй, Хэмп! Ты что там рот разинул! Думаешь, не вижу?»

В кубрике у охотников заметно растёт недовольство, и я слышал, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон самый опытный из охотников. Это флегматичный парень, и его трудно раскачать, но, верно, уж его раскатали, потому что Смок ходит с подбитым глазом и сегодня за ужином смотрел зверем.

Перед ужином я был свидетелем жестокого зрелища, изобличающего грубость и черствость этих людей. В нашей команде есть новичок, по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, которого, должно быть, толкнула на это первое плавание жажда приключений. При слабом и часто меняющемся противном ветре шхуне приходится много лавировать. В таких случаях паруса переносят с одного борта на другой, а вверх посылают матроса – перенести фор-топсель. Гаррисон был наверху, когда шкот заело в блоке, через который он проходит на ноке гафеля. Насколько я понимаю, было два способа очистить шкот: либо спустить фок, что было сравнительно легко и не сопряжено с опасностью, либо добраться по дирик-фалу до нока гафеля – предприятие весьма рискованное.

Иогансен приказал Гаррисону лезть по фалу. Всякому было ясно, что мальчишка трусит. Да и немудрено – ведь ему предстояло подняться на восемьдесят футов над палубой, доверив свою жизнь тонким, колеблющимся снастям. При более ровном ветре опасность была бы не так велика, но «Призрак» качало на длинной волне, как скорлупку, и при каждом крене судна паруса хлопали и полоскались, а фалы то ослабевали, то вдруг натягивались рывком. Они могли стряхнуть с себя человека, как возница стряхивает муху с кнута.

Гаррисон слышал приказ и понял, чего от него требуют, но все еще мешкал. Быть может, ему первый раз в жизни приходилось работать на мачте. Иогансен, который успел уже перенять манеру Волка Ларсена, разразился градом ругательств.

– Будет, Иогансен! – оборвал его капитан. – На этом судне ругаюсь я, пора бы вам это понять. Если мне понадобится ваша помощь, я вам скажу.

– Есть, сэр, – покорно отозвался помощник.

В это время Гаррисон уже лез по фалам. Я смотрел на него из двери камбуза и видел, что он весь дрожит, словно в лихорадке. Он подвигался вперед очень медленно и осторожно. Его фигура четко вырисовывалась на яркой синеве неба и напоминала огромного паука, ползущего по тонкой нити паутины.

Гаррисону приходилось взбираться вверх под небольшим уклоном, и дирик-фал, пропущенный через разные блоки на гафеле и на мачте, кое-где давал опору для рук и ног. Но беда была в том, что слабый и непостоянный ветер плохо наполнял паруса. Когда Гаррисон был уже на полпути к ноку гафеля, «Призрак» сильно качнуло, сначала в наветренную сторону, а потом обратно, в ложбину между двумя валами. Гаррисон замер, крепко уцепившись за фал. Стоя внизу, на расстоянии восьмидесяти футов от него, я видел, как напряглись его мускулы в отчаянной борьбе за жизнь. Парус повис пустой, гафель закинуло, фал ослабел, и, хотя все произошло мгновенно, я видел, как он прогнулся под тяжестью матроса. Потом гафель внезапно вернулся в прежнее положение, огромный парус, надуваясь, хлопнул так, словно выстрелили из пушки, а три ряда риф-штертов защелкали по парусине, создавая впечатление ружейной пальбы. Гаррисон, уцепившийся за фал, совершил головокружительный полет. Но полет этот внезапно прекратился. Фал натянулся, и это и был удар кнута, стряхивающий муху. Гаррисон не удержался. Одна рука его отпустила фал, другая секунду еще цеплялась, но только секунду. Однако в момент падения матрос каким-то чудом ухитрился зацепиться за снасти ногами и повис вниз головой. Изогнувшись, он снова ухватился руками за фал. Мало-помалу ему удалось восстановить прежнее положение, и он жалким комочком прилип к снастям.

– Пожалуй, это отобьет у него аппетит к ужину, – услышал я голос Волка Ларсена, который появился из-за угла камбуза. – Полундра, Иогансен! Берегитесь! Сейчас начнется!

И действительно, Гаррисону было дурно, как при морской болезни. Он висел, уцепившись за снасти, и не решался двинуться дальше. Но Иогансен не переставал яростно понукать его, требуя, чтобы он выполнил приказание.

– Стыд и позор! – проворчал Джонсон медленно и с трудом, но правильно выговаривая английские слова. Он стоял у грот-вант в нескольких шагах от меня. – Малый и так старается. Научился бы понемногу. А это...

Он умолк, прежде чем слово «убийство» сорвалось у него с языка.

– Тише, ты! – шепнул ему Луис. – Помалкивай, коли тебе жизнь не надоела!

Но Джонсон не унимался и продолжал ворчать.

– Послушайте, – сказал один из охотников, Стэндиш, обращаясь к капитану, – это мой гребец, я не хочу потерять его.

– Ладно, Стэндиш, – последовал ответ. – Он гребец, когда он у вас на шлюпке, но на шхуне – он мой матрос, и я могу распоряжаться им, как мне заблагорассудится, черт подери!

– Это еще не значит... – начал было снова Стэндиш.

– Хватит! – огрызнулся Ларсен. – Я сказал, и точка. Это мой матрос, и я могу сварить из него суп и съесть, если пожелаю.

Злой огонек сверкнул в глазах охотника, но он смолчал и направился к кубрику; остановившись на трапе, он взглянул вверх. Все матросы столпились теперь на палубе, все глаза были обращены туда, где шла борьба жизни со смертью. Черствость, бессердечие тех людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других, ужаснули меня. Мне, стоявшему всегда в стороне от житейского водоворота, даже на ум не приходило, что труд человека может быть сопряжен с такой опасностью. Человеческая жизнь всегда представлялась мне чем-то высокосвященным, а здесь ее не ставили ни во что, здесь она была не больше как цифрой в коммерческих расчетах. Должен оговориться: матросы сочувствовали своему товарищу, взять, к примеру, того же Джонсона, но начальство – капитан и охотники – проявляло полное бессердечие и равнодушие. Ведь и Стэндиш вступился за матроса лишь потому, что не хотел потерять гребца. Будь это гребец с другой шлюпки, он отнесся бы к происшествию так же, как остальные, – оно только позабавило бы его.

Но вернемся к Гаррисону. Минут десять Иогансен всячески понукал и поносил несчастного и заставил его наконец сдвинуться с места. Матрос добрался все же до нока гафеля. Там он уселся на гафель верхом, и ему стало легче держаться. Он очистил шкот и мог теперь вернуться, спустившись по фалу к мачте. Но у него уже, как видно, не хватало духу. Он не решался променять свое опасное положение на еще более опасный спуск.

Расширенными от страха глазами он поглядывал на тот путь, который ему предстояло совершить высоко в воздухе, потом переводил взгляд на палубу. Его трясло как в лихорадке. Мне никогда еще не случалось видеть выражения такого смертельного испуга на человеческом лице. Тщетно Иогансен кричал ему, чтобы он спускался. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он прилип к нему, оцепенев от ужаса. Волк Ларсен прогуливался по палубе, беседуя со Смоком, и не обращал больше никакого внимания на Гаррисона, – только раз резко окрикнул рулевого:

– Ты сошел с курса, приятель. Смотри, получишь у меня!

– Есть, сэр, – отвечал рулевой и немного повернул штурвал.

Его провинность состояла в том, что он слегка отклонил шхуну от курса, чтобы слабый ветер мог хоть немного надуть паруса и удерживать их в одном положении. Этим он пытался помочь злополучному Гаррисону, рискуя навлечь на себя гнев Волка Ларсена.

Время шло, и напряжение становилось невыносимым. Однако Томас Магридж находил это происшествие чрезвычайно забавным. Каждую минуту он высовывал голову из камбуза и отпускал шуточки. Как я ненавижу его! Моя ненависть к нему выросла за эти страшные минуты до исполинских размеров. Первый раз в жизни я испытывал желание убить человека.



Я «жаждал крови», как выражаются некоторые наши писатели и любители пышных оборотов. Жизнь вообще, быть может, священна, но жизнь Томаса Магриджа представлялась мне чем-то презренным и нечестивым. Почувствовав жажду убийства, я испугался, и у меня мелькнула мысль: неужели грубость окружающей среды так на меня повлияла? Ведь не я ли всегда утверждал, что смертная казнь несправедлива и недопустима даже для самых закоренелых преступников?

Прошло не меньше получаса, а затем я заметил, что Джонсон и Луис горячо о чем-то спорят! Спор кончился тем, что Джонсон отмахнулся от Луиса, который пытался его удержать, и направился куда-то. Он пересек палубу, прыгнул на фор-ванты и полез вверх. Это не ускользнуло от острого взора Волка Ларсена.

– Эй, ты! Куда? – крикнул он.

Джонсон остановился. Глядя в упор на капитана, он неторопливо ответил:

– Хочу снять парня.

– Спустишь сию же минуту вниз, черт тебя дери! Слышишь? Вниз!

Джонсон медлил, но многолетняя привычка подчиняться приказу пересилила, и, спустившись с мрачным видом на палубу, он ушел на бак.

В половине шестого я направился в кают-компанию накрывать на стол, но почти не сознавал, что делаю. Я видел только раскачивающийся гафель и прилепившегося к нему бледного, дрожащего от страха матроса, похожего снизу на какую-то смешную козлявку.

В шесть часов, подавая обед и пробегая по палубе в камбуз, я видел Гаррисона все в том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Никого, по-видимому, не интересовала жизнь этого человека, подвергнутая смертельной опасности потехи ради. Однако немного позже, лишний раз сбегав в камбуз, я, к своей великой радости, увидел Гаррисона, который, шатаясь, брел от вант к люку на баке. Он наконец собрался с духом и спустился.

Чтобы покончить с этим случаем, я должен вкратце передать свой разговор с Волком Ларсеном, – он заговорил со мной в кают-компании, когда я убирал посуду.

– Что это у вас сегодня такой жалкий вид? – начал он. – В чем дело?

Я видел, что он отлично понимает, почему я чувствую себя почти так же худо, как Гаррисон, но хочет вызвать меня на откровенность, и отвечал:

– Меня расстроило жестокое обращение с этим малым.

Он усмехнулся.

– Это у вас нечто вроде морской болезни. Одни подвержены ей, другие – нет.

– Что же тут общего? – возразил я.

– Очень много общего, – продолжал он. – Земля так же полна жестокостью, как море – движением. Иные не переносят первой, другие – второго. Вот и вся причина.

– Вы так издеваетесь над человеческой жизнью, неужели вы не придаете ей никакой цены? – спросил я.

– Цены? Какой цены? – Он посмотрел на меня, и я прочел циничную усмешку в его суровом пристальном взгляде. – О какой цене вы говорите? Как вы ее определите? Кто ценит жизнь?

– Я ценю, – ответил я.

– Как же вы ее цените? Я имею в виду чужую жизнь. Сколько она, по-вашему, стоит?

Цена жизни! Как мог я определить ее? Привыкший ясно и свободно излагать свои мысли, я в присутствии Ларсена почему-то не находил нужных слов. Отчасти я объяснял себе это тем, что его личность подавляла меня, но главная причина крылась все же в полной противоположности наших воззрений. В спорах с другими материалистами я всегда мог хоть в чем-то найти общий язык, найти какую-то отправную точку, но с Волком Ларсеном у меня не было ни единой точки соприкосновения. Быть может, меня сбивала с толку примитивность его мышления; он сразу приступал к тому, что считал существом вопроса, отбрасывая все казавшееся

ему мелким и незначительным, и говорил так безапелляционно, что я терял почву под ногами. Цена жизни! Как мог я сразу, не задумываясь, ответить на такой вопрос? Жизнь священна – это я принимал за аксиому. Ценность ее в ней самой – это было столь очевидной истиной, что мне никогда не приходило в голову подвергать ее сомнению. Но когда Ларсен потребовал, чтобы я нашел подтверждение этой общеизвестной истине, я растерялся.

– Мы с вами беседовали об этом вчера, – сказал он. – Я сравнивал жизнь с закваской, с дрожжевым грибом, который пожирает жизнь, чтобы жить самому, и утверждал, что жизнь – это просто торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения жизнь самая дешевая вещь на свете. Количество воды, земли и воздуха ограничено, но жизнь, которая порождает жизнь, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами икринок. И возьмите себя или меня! В наших чреслах тоже заложены миллионы жизней. Имей мы возможность даровать жизнь каждой крупинке заложенной в нас нерожденной жизни, мы могли бы стать отцами народов и населить целые материки. Жизнь? Пустое! Она ничего не стоит. Из всех дешевых вещей она самая дешевая. Она стучится во все двери. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остается лишь самая сильная и самая свинская.

– Вы читали Дарвина, – заметил я. – Но вы превратно толкуете его, если думаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами чужих жизней.

Он пожал плечами.

– Вы, очевидно, имеете в виду лишь человеческую жизнь, так как зверей и птиц и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек. Но человеческая жизнь ничем не отличается от всякой прочей жизни, хотя вам и кажется, что это не так, и вы якобы видите какую-то разницу. Почему я должен беречь эту жизнь, раз она так дешево стоит и не имеет ценности? Для матросов не хватает кораблей на море, так же как для рабочих на суше не хватает фабрик и машин. Вы, живущие на суше, отлично знаете, что, сколько бы вы ни вытесняли бедняков на окраины, в городские трущобы, отдавая их во власть голода и эпидемий, и сколько бы их ни мерло из-за отсутствия корки хлеба и куска мяса (то есть той же разрушенной жизни), их еще остается слишком много, и вы не знаете, что с ними делать. Видели вы когда-нибудь, как лондонские грузчики дерутся, словно дикие звери, из-за возможности получить работу?

Он направился к трапу, но обернулся, чтобы сказать еще что-то напоследок.

– Видите ли, жизнь не имеет никакой цены, кроме той, какую она сама себе придает. И, конечно, она себя переоценивает, так как неизбежно пристрастна к себе. Возьмите хоть этого матроса, которого я сегодня держал на мачте. Он цеплялся за жизнь так, как будто это невеста какое сокровище, драгоценнее всяких бриллиантов или рубинов. Имеет ли она для вас такую ценность? Нет. Для меня? Нисколько. Для него самого? Несомненно. Но я не согласен с его оценкой, он чрезмерно переоценивает себя. Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения. Если бы он упал и разбрызгал свои мозги по палубе, словно мед из сотов, мир ничего не потерял бы от этого. Он не представляет для мира никакой ценности. Предложение слишком велико. Только в своих собственных глазах имеет он цену, и заметьте, насколько эта ценность обманчива, – ведь мертвый он уже не сознавал бы этой потери. Только он один и ценит себя дороже бриллиантов и рубинов. И вот бриллианты и рубины пропадут, рассыплются по палубе, их смоют в океан ведром воды, а он даже не будет знать об их исчезновении. Он ничего не потеряет, так как с потерей самого себя утратит и сознание потери. Ну? Что вы скажете?

– Что вы по крайней мере последовательны, – отвечал я.

Это было все, что я мог сказать, и я снова занялся мытьем тарелок.

## Глава 7

Наконец, после трех дней переменных ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, хорошо выпавшись, несмотря на боль в колене, и увидел, что «Призрак», пеня волны, летит, как на крыльях, под всеми парусами, кроме кливеров. В корму дул свежий ветер. Какое чудо эти мощные пассаты! Весь день мы шли вперед и всю ночь и так изо дня в день, а ровный и сильный ветер все время дул нам в корму. Шхуна сама летела вперед, и не нужно было выбирать и травить всевозможные снасти или переносить топселя, и матросам оставалось только нести вахту у штурвала. Вечерами, после захода солнца, шкоты немного потравливали, а по утрам, дав им просохнуть после росы, снова добирали, – и это было все.

Наша скорость – десять, одиннадцать, иной раз двенадцать узлов. А попутный ветер все дует и дует с северо-востока, и мы за сутки покрываем двести пятьдесят миль. Меня и печалит и радует эта скорость, с которой мы удаляемся от Сан-Франциско и приближаемся к тропикам. С каждым днем становится все теплее. Во время второй вечерней полувахты матросы выходят на палубу; раздеваются и окатывают друг друга морской водой. Начинают появляться летучие рыбы, и ночью вахтенные ползают по палубе, ловя тех, что падают к нам на шхуну. А утром, если удастся подкупить Магриджа, из камбуза несется приятный запах жареной рыбы. Порой все лакомятся мясом дельфина, когда Джонсону посчастливится поймать с бушприта одного из этих красавцев.

Джонсон проводит там все свое свободное время или же заберется на салинг и смотрит, как «Призрак», гонимый пассатом, рассекает воду. Страсть и упоение светятся в его взгляде, он ходит как в трансе, восхищенно поглядывая на раздувающиеся паруса, на пенистый след корабля, на его свободный бег по высоким волнам, которые движутся вместе с нами величавой процессией.

Дни и ночи – «чудо и неистовый восторг», и хотя нудная работа поглощает все мое время, я все же стараюсь улучшить минутку, чтобы полюбоваться этой бесконечной торжествующей красотой, о существовании которой никогда прежде и не подозревал. Над нами синее, безоблачное небо, повторяющее оттенки моря, которое под форштевнем блестит и отликает, как голубой атлас. По горизонту протянулись легкие, перистые облачка, неизменные, неподвижные, точно серебряная оправа яркого бирюзового свода.

Надолго запомнилась мне одна ночь, когда, забыв про сон, лежал я на полубаке и смотрел на переливчатую игру пены, бурлившей у форштевня. До меня долетали звуки, напоминавшие журчание ручейка по мшистым камням в тихом, уединенном ущелье. Они убаюкивали, уносили куда-то далеко, заставляя забывать, что я – юнга «Хэмп», бывший некогда Хэмфри Ван-Вейденом, который тридцать пять лет своей жизни просидел над книгами. Меня вернул к действительности голос Волка Ларсена, как всегда сильный и уверенный, но с необычайной мягкостью и затаенным восторгом произносивший такие слова:

Южных звезд искристый свет, за кормой  
сребристый след,  
Как дорога в небосвод.  
Киль взрезает пену волн, парус ровным ветром полн.  
Кит дробит сверканье вод.  
Снасти блещут росой по утрам,  
Солнце сушит обшивку бортов.  
Перед нами путь, путь знакомый нам —

Путь на юг, старый друг, он для нас вечно нов!<sup>5</sup>

– Ну как, Хэмп? Нравится вам это? – спросил он меня, помолчав, как того требовали стихи и обстановка.

Я взглянул на него. Лицо его было озарено светом, как само море, и глаза сверкали.

– Меня поражает, что вы способны на такой энтузиазм, – холодно отвечал я.

– Почему же? Это говорит во мне жизнь! – воскликнул он.

– Дешевая вещь, не имеющая никакой цены, – напомнил я ему его слова.

Он рассмеялся, и я впервые услышал в его голосе искреннее веселье.

– Эх, никак не заставишь вас понять, никак не втолкуешь вам, что это за штука – жизнь! Конечно, она имеет цену только для себя самой. И могу сказать вам, что моя жизнь сейчас весьма ценна... для меня. Ей прямо нет цены, хотя вы скажете, что я очень ее переоцениваю. Но что поделаешь, моя жизнь сама определяет себе цену.

Он помолчал, – казалось, он подыскивает слова, чтобы высказать какую-то мысль, – потом заговорил снова:

– Видите ли, я испытываю сейчас удивительный подъем духа. Словно все времена звучат во мне и все силы принадлежат мне. Словно мне открылась истина и я могу отличить добро от зла, правду от лжи и взором проникнуть вдаль. Я почти готов поверить в Бога. Но, – голос его изменился и лицо потемнело, – почему я в таком состоянии? Откуда эта радость жизни? Это упоение жизнью? Этот – назовем его так – подъем? Все это бывает просто от хорошего пищеварения, когда у человека желудок в порядке, аппетит исправный и весь организм хорошо работает. Это брожение закваски, шампанское в крови – это обман, подачка, которую бросает нам жизнь, внушая одним высокие мысли, а других заставляя видеть Бога или создавать его, если они не могут его видеть. Вот и все: опьянение жизни, бурление закваски, бессмысленная радость жизни, одурманенной сознанием, что она бродит, что она жива. Но увы! Завтра я буду расплачиваться за это, завтра для меня, как для запойного пьяницы, наступит похмелье. Завтра я буду помнить, что я должен умереть, и, вероятнее всего, умру в плавании; что я перестану бродить в самом себе, стану частью брожения моря; что я буду гнить; что я сделаюсь падалью; что сила моих мускулов перейдет в плавники и чешую рыб. Увы! Шампанское выдохлось. Вся игра ушла из него, и оно потеряло свой вкус.

Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу мягко и бесшумно, словно тигр.

«Призрак» продолжал идти своим путем. Пена бурлила у форштевня, но мне чудились теперь звуки, похожие на сдавленный хрип. Я прислушивался к ним, и мало-помалу впечатление, которое произвел на меня внезапный переход Ларсена от экстаза к отчаянию, ослабело.

Вдруг какой-то матрос на палубе звучным тенором затянул «Песнь пассата»:

Я – ветер, любезный морякам.  
Я свеж, могуч.  
Они следят по небесам  
Мой лет средь туч.  
И я бегу за кораблем  
Вернее пса.  
Вздуваю ночью я и днем  
Все паруса.

---

<sup>5</sup> Из стихотворения Р. Киплинга «Дальний путь».

## Глава 8

Иногда Волк Ларсен кажется мне просто сумасшедшим или, во всяком случае, не вполне нормальным – столько у него странностей и диких причуд. Иногда же я вижу в нем задатки великого человека, гения, оставшиеся в зародыше. И, наконец, в чем я совершенно убежден, так это в том, что он ярчайший тип первобытного человека, опоздавшего родиться на тысячу лет или поколений, живой анахронизм в наш век высокой цивилизации. Бесспорно, он законченный индивидуалист и, конечно, очень одинок. Между ним и всем экипажем нет ничего общего. Его необычайная физическая сила и сила его личности отгораживают его от других. Он смотрит на них как на детей, – не делает исключения даже для охотников, – и обращается с ними как с детьми, заставляя себя спускаться до их уровня и порой играя с ними, словно со щенками. Иногда же он исследует их суровой рукой вивисектора и копается в их душах, как бы желая понять, из какого теста они слеплены.

За столом я десятки раз наблюдал, как он, холодно и пристально глядя на кого-нибудь из охотников, принимался оскорблять его, а затем с таким любопытством ждал от него ответа, вернее вспышки бессильного гнева, что мне, стороннему наблюдателю, понимавшему, в чем тут дело, становилось смешно. Когда же он сам впадает в ярость, она кажется мне напускной. Я уверен, что это только манера держаться, сознательно усвоенная им по отношению к окружающим, и он просто пользуется ею для своих экспериментов. После смерти его помощника я, в сущности, ни разу больше не видел Ларсена по-настоящему разгневанным, да, признаться, и не желал бы увидеть, как вырвется наружу вся его чудовищная сила.

Раз уж зашла речь о его прихотях, я расскажу о том, что случилось с Томасом Магриджем в кают-компании, а заодно покончу и с тем происшествием, о котором уже как-то упоминал.

Однажды после обеда я заканчивал уборку кают-компании, как вдруг по трапу спустились Волк Ларсен и Томас Магридж. Хотя конура кока примыкала к кают-компании, он никогда не смел задерживаться здесь и робкой тенью поспешно проскальзывал мимо два-три раза в день.

– Так, значит, ты играешь в «наполеона»? – довольным тоном произнес Волк Ларсен. – Ну, разумеется, ты же англичанин. Я сам научился этой игре на английских кораблях.

Этот жалкий червяк, Томас Магридж, был на седьмом небе от того, что капитан разговаривает с ним по-приятельски, но все его ужимки и мучительные старания держаться с достоинством и разыгрывать из себя человека, рожденного для лучшей жизни, могли только вызвать омерзение и смех. Мое присутствие он совершенно игнорировал, впрочем, ему и на самом деле было не до меня. Его водянистые, выцветшие глаза сияли, и у меня не хватало фантазии вообразить себе, какие блаженные видения носились перед его взором.

– Подай карты, Хэмп, – приказал мне Волк Ларсен, когда они уселись за стол. – И принеси виски и сигары – достань из ящика у меня под койкой.

Когда я вернулся в кают-компанию, кок уже туманно распространялся о какой-то тайне, связанной с его рождением, намекая, что он – сбившийся с пути сын благородных родителей или что-то в этом роде и его удалили из Англии и даже платят ему деньги за то, чтобы он не возвращался. «Хорошие деньги платят, – пояснял он, – лишь бы там моим духом не пахло».

Я принес было рюмки, но Волк Ларсен нахмурился, покачал головой и жестом показал, чтобы я подал стаканы. Он наполнил их на две трети неразбавленным виски – «джентльменским напитком», как заметил Томас Магридж, – и, чокнувшись во славу великолепной игры «нап», они закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.

Они играли на деньги, все время увеличивая ставки, и пили виски, а когда выпили все, капитан велел принести еще. Я не знаю, передергивал ли Волк Ларсен, – он был вполне способен на это, – но, так или иначе, он неизменно выигрывал. Кок снова и снова отправлялся к

своей койке за деньгами. При этом он страшно фанфаронил, но никогда не приносил больше нескольких долларов зараз. Он осовел, стал фамильярен, плохо разбирал карты и едва не падал со стула. Собираясь в очередной раз отправиться к себе в каморку, он грязным указательным пальцем зацепил Волка Ларсена за петлю куртки и тупо забубнил:

– У меня есть денежки, есть! Говорю вам – я сын джентльмена.

Волк Ларсен не пьянел, хотя пил стакан за стаканом; он наливал себе виски ничуть не меньше, чем коку, и все же я не замечал в нем ни малейшей перемены. Выходки Магриджа, по-видимому, даже не забавляли его.

В конце концов, торжественно заявив, что и проигрывать он умеет, как джентльмен, кок поставил последние деньги и проиграл. После этого он заплакал, уронив голову на руки. Волк Ларсен с любопытством поглядел на него, словно собираясь одним ударом скальпеля вскрыть и исследовать его душу, но, как видно, раздумал, сообразив, что здесь и исследовать-то, собственно говоря, нечего.

– Хэмп, – с подчеркнутой вежливостью обратился он ко мне, – будьте добры, возьмите мистера Магриджа под руку и отведите на палубу. Он себя неважно чувствует. И скажите Джонсону, чтобы они там угостили его двумя-тремя ведрами морской воды, – добавил он, понизив голос.

Я оставил кока на палубе в руках нескольких ухмыляющихся матросов, которых Джонсон позвал на подмогу. Мистер Магридж сонно бормотал, что он «сын джентльмена». Спускаясь по трапу убрать в кают-компании со стола, я услышал, как он завопил от первого ведра.

Волк Ларсен подсчитывал свой выигрыш.

– Ровно сто восемьдесят пять долларов, – произнес он вслух. – Так я и думал. Бродяга явился на борт без гроша в кармане.

– И то, что вы выиграли, принадлежит мне, сэр, – смело заявил я.

Он удостоил меня насмешливой улыбкой.

– Я ведь тоже изучал когда-то грамматику, Хэмп, и мне кажется, что вы путаете времена глагола. Вы должны были сказать «принадлежало».

– Это вопрос не грамматики, а этики, – возразил я.

– Знаете ли вы, Хэмп, – медленно и серьезно начал он с едва уловимой грустью в голосе, – что я первый раз в жизни слышу слово «этика» из чьих-то уст? Вы и я – единственные люди на этом корабле, знающие смысл этого слова.

В моей жизни была пора, – продолжал он после новой паузы, – когда я мечтал беседовать с людьми, говорящими таким языком, мечтал, что когда-нибудь я поднимусь над той средой, из которой вышел, и буду общаться с людьми, умеющими рассуждать о таких вещах, как этика. И вот теперь я в первый раз услышал это слово. Но это все между прочим. А по существу вы не правы. Это вопрос не грамматики и не этики, а факта.

– Понимаю, – сказал я, – факт тот, что деньги у вас.

Его лицо просветлело. По-видимому, он остался доволен моей сообразительностью.

– Но вы обходите основной вопрос, – продолжал я, – который лежит в области права.

– Вот как! – отозвался он, презрительно скривив губы. – Я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как «право» и «бесправие», «добро» и «зло».

– А вы не верите? Совсем?

– Ни на йоту. Сила всегда права. И к этому все сводится. А слабость всегда виновата. Или лучше сказать так: быть сильным – это добро, а быть слабым – зло. И еще лучше даже так: сильным быть приятно потому, что это выгодно, а слабым быть неприятно, так как это невыгодно. Вот, например: владеть этими деньгами приятно. Владеть ими – добро. И потому, имея возможность владеть ими, я буду несправедлив к себе и к жизни во мне, если отдам их вам и откажусь от удовольствия обладать ими.

– Но вы причиняете мне зло, удерживая их у себя, – возразил я.

– Ничего подобного! Человек не может причинить другому зло. Он может причинить зло только себе самому. Я убежден, что поступаю дурно всякий раз, когда соблюдаю чужие интересы. Как вы не понимаете? Могут ли две частицы дрожжей обидеть одна другую при взаимном пожирании? Стремление пожирать и стремление не дать себя пожрать заложено в них природой. Нарушая этот закон, они впадают в грех.

– Так вы не верите в альтруизм? – спросил я.

Слово это, по-видимому, показалось ему знакомым, но заставило задуматься.

– Погодите, это, кажется, что-то относительно содействия друг другу?

– Пожалуй, некоторая связь между этими понятиями существует, – ответил я, не удивляясь пробелу в его словаре, так как своими познаниями он был обязан только чтению и самообразованию. Никто не руководил его занятиями. Он много размышлял, но ему мало приходилось беседовать. – Альтруистическим поступком мы называем такой, который совершается для блага других. Это бескорыстный поступок в противоположность эгоистическому.

Он кивнул головой.

– Так, так! Теперь я припоминаю. Это слово попадалось мне у Спенсера.

– У Спенсера?! – воскликнул я. – Неужели вы читали его?

– Читал немного, – отвечал он. – Я, кажется, неплохо разобрался в «Основных началах», но на «Основаниях биологии» мои паруса повисли, а на «Психологии» я и совсем попал в мертвый штиль. Сказать по правде, я не понял, куда он там гнет. Я приписал это своему скудоумию, но теперь знаю, что мне просто не хватало подготовки. У меня не было соответствующего фундамента. Только один Спенсер да я знаем, как я бился над этими книгами. Но из «Показателей этики» я кое-что извлек. Там-то я и встретился с этим самым «альтруизмом» и теперь припоминаю, в каком смысле это было сказано.

«Что мог извлечь этот человек из работ Спенсера?» – подумал я. Достаточно хорошо помня учение этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения. Очевидно, Волк Ларсен брал из его учения то, что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним.

– Что же еще вы там вычитали? – спросил я.

Он сдвинул брови, видимо подбирая слова для выражения своих мыслей, остававшихся до сих пор не высказанными. Я чувствовал себя приподнято. Теперь я старался проникнуть в его душу, подобно тому как он привык проникать в души других. Я исследовал девственную область. И странное – странное и пугающее – зрелище открывалось моему взору.

– Коротко говоря, – начал он, – Спенсер рассуждает так: прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так – нравственно и хорошо. Затем, он должен действовать на благо своих детей. И, в-третьих, он должен заботиться о благе человечества.

– Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий, – вставил я, – будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем человечестве.

– Этого я не сказал бы, – отвечал он. – Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла. Я исключаю человечество и детей. Ради них я ничем не поступил бы. Это все слюнявые бредни – во всяком случае, для того, кто не верит в загробную жизнь, – и вы сами должны это понимать. Верь я в бессмертие, альтруизм был бы для меня выгодным занятием. Я мог бы черт знает как возвысить свою душу. Но, не видя впереди ничего вечного, кроме смерти, и имея в своем распоряжении лишь короткий срок, пока во мне шевелятся и бродят дрожжи, именуемые жизнью, я поступал бы безнравственно, принося какую бы то ни было жертву. Всякая жертва, которая лишила бы меня хоть мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственна по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закваску. Буду ли я приносить жертвы или стану заботиться только о себе

в тот отмеренный мне срок, пока я составляю частицу дрожжей и ползаю по земле, – от этого ожидающая меня вечная неподвижность не будет для меня ни легче, ни тяжелее.

– В таком случае вы индивидуалист, материалист и, естественно, гедонист.

– Громкие слова! – улыбнулся он. – Но что такое «гедонист»?

Выслушав мое определение, он одобрительно кивнул головой.

– А кроме того, – продолжал я, – вы такой человек, которому нельзя доверять даже в мелочах, как только к делу примешиваются личные интересы.

– Вот теперь вы начинаете понимать меня, – обрадованно сказал он.

– Так вы человек, совершенно лишенный того, что принято называть моралью?

– Совершенно.

– Человек, которого всегда надо бояться?

– Вот это правильно.

– Бояться, как бояться змеи, тигра или акулы?

– Теперь вы знаете меня, – сказал он. – Знаете меня таким, каким меня знают все. Ведь меня называют Волком.

– Вы – чудовище, – бесстрашно заявил я, – Калибан, который размышлял о Сетевосе<sup>6</sup> и поступал, подобно вам, под влиянием минутного каприза.

Он не понял этого сравнения и нахмурился; я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы.

– Я сейчас как раз читаю Броунинга, – признался Ларсен, – да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уже изрядно запутался.

Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему «Калибана» вслух. Он был восхищен. Этот упрощенный взгляд на вещи и примитивный способ рассуждения был вполне доступен его пониманию. Время от времени он вставлял замечания и критиковал недостатки поэмы. Когда я кончил, он заставил меня перечитать ему поэму во второй и в третий раз, после чего мы углубились в спор – о философии, науке, эволюции, религии. Его рассуждения отличались неточностью, свойственной самоучке, и безапелляционной прямолинейностью, присущей первобытному уму. Но в самой примитивности его суждений была сила, и его примитивный материализм был куда убедительнее тонких и замысловатых материалистических построений Чарли Фэрасета. Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закоренелого или, как выражался Фэрасет, «прирожденного» идеалиста. Но Волк Ларсен штурмовал устои моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать.

Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал проявлять беспокойство, и, когда Томас Магридж, злой и хмурый, как туча, заглянул в кают-компанию, я встал, собираясь приступить к своим обязанностям. Но Волк Ларсен крикнул Магриджу:

– Кок, сегодня тебе придется похлопотать самому! Хэмп нужен мне. Обойдись без него.

И снова произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, а Томас Магридж прислуживал нам, а потом мыл посуду. Это была калибановская прихоть Волка Ларсена, и она сулила мне много неприятностей. Но пока что мы с ним говорили и говорили без конца, к великому неудовольствию охотников, не понимавших ни слова.

---

<sup>6</sup> Калибан – уродливое человекоподобное существо, персонаж из пьесы Шекспира «Буря», воплощает грубые силы природы, подчиненные человеческому разуму и вынужденные служить ему. Сетевос (в мифологии южноамериканских индейцев) – бог враждебных человеку стихий. Поэма Р. Броунинга «Калибан о Сетевосе, или Натуртеология на острове» – монолог Калибана, бунтующего против всемогущества человеческого разума.



## Глава 9

Три дня, три блаженных дня отдыхал я, проводя все свое время в обществе Волка Ларсена. Я ел за столом в кают-компании и только и делал, что беседовал с капитаном о жизни, литературе и законах мироздания. Томас Магридж рвал и метал, но исполнял за меня всю работу.

– Берегись шквала! Больше я тебе ничего не скажу, – предостерег меня Луис, когда мы на полчаса остались с ним вдвоем на палубе. Волк Ларсен улаживал в это время очередную ссору между охотниками. – Никогда нельзя сказать наперед, что может случиться, – продолжал Луис в ответ на мой недоуменный вопрос. – Старик изменчив, как ветры и морские течения. Никогда не угадаешь, что он может выкинуть. Тебе кажется, что ты уже знаешь его, что ты хорошо с ним ладишь, а он тут-то как раз и повернет, кинется на тебя и разнесет в клочья твои паруса, которые ты поставил в расчете на хорошую погоду.

Поэтому я не был особенно удивлен, когда предсказанный Луисом шквал налетел на меня. Между мной и капитаном произошел горячий спор – о жизни, конечно; и, не в меру расхрабравшись, я начал осуждать самого Волка Ларсена и его поступки. Должен сказать, что я вскрывал и выворачивал наизнанку его душу так же основательно, как он привык проделывать это с другими. Признаюсь, речь моя вообще резка. А тут я отбросил всякую сдержанность, колот и хлестал Ларсена, пока он не рассвирепел. Бронзовое лицо его потемнело от гнева, глаза сверкнули. В них уже не было ни проблеска сознания – ничего, кроме слепой, безумной ярости. Я видел перед собой волка, и притом волка бешеного.

С глухим возгласом, похожим на рев, он прыгнул ко мне и схватил меня за руку. Я собрался с духом и взглянул ему прямо в глаза, хотя меня пробирала дрожь. Но чудовищная сила этого человека сломила мою волю. Он держал меня за руку выше локтя, и, когда он сжал пальцы, я пошатнулся и вскрикнул от боли. Ноги у меня подкосились. Я не в силах был терпеть эту пытку. Мне казалось, что рука моя будет сейчас раздавлена.

Внезапно Ларсен пришел в себя, в глазах его снова засветилось сознание, и он отпустил мою руку с коротким смешком, напоминавшим рычание. Сразу обессилев, я повалился на пол, а он сел, закурил сигару и стал наблюдать за мной, как кошка, стерегущая мышь. Корчась на полу от боли, я уловил в его глазах любопытство, которое не раз уже подмечал в них, – любопытство, удивление и вопрос: к чему все это?

Кое-как встав на ноги, я поднялся по трапу. Пришел конец хорошей погоде, и не оставалось ничего другого, как вернуться в камбуз. Левая рука у меня онемела, словно парализованная, и в течение нескольких дней я почти ею не владел, а скованность и боль чувствовались в ней еще много недель спустя. Между тем Ларсен просто схватил ее и сжал. Он не ломал и не вывертывал мне руку. Он только стиснул ее пальцами.

Что мне грозило, я понял лишь на другой день, когда он просунул голову в камбуз и, в знак возобновления дружбы, осведомился, не болит ли у меня рука.

– Могло кончиться хуже! – усмехнулся он.

Я чистил картофель. Ларсен взял в руку картофелину. Она была большая, твердая, неочищенная. Он сжал кулак, и жидкая каша потекла у него между пальцами. Он бросил в чан то, что осталось у него в кулаке, повернулся и ушел. А мне стало ясно, во что превратилась бы моя рука, если бы это чудовище применило всю свою силу.

Однако трехдневный покой как-никак пошел мне на пользу. Колено мое получило наконец необходимый отдых, и опухоль заметно спала, а коленная чашечка стала на место. Однако эти три дня отдыха принесли мне и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж явно старался заставить меня расплатиться за полученный отдых сполна. Он злобствовал, бранился на чем свет стоит и взваливал на меня свою работу. Раз даже он замахнулся на меня кулаком.

Но я уже и сам озверел и огрызнулся так свирепо, что он струсил и отступил. Малопривлекательную, должно быть, картину представлял я, Хэмфри Ван-Вейден, в эту минуту. Я сидел в углу вонючего камбуза, скорчившись над своей работой, а этот негодяй стоял передо мной и угрожал мне кулаком. Я глядел на него, ощерившись, как собака, сверкая глазами, в которых беспомощность и страх смешивались с мужеством отчаяния. Не нравится мне эта картина. Боюсь, что я был очень похож на затравленную крысу. Но кое-чего я все же достиг – занесенный кулак не опустился на меня.

Томас Магридж попятился. В глазах его светилась такая же ненависть и злоба, как и в моих. Мы были словно два зверя, запертые в одной клетке и злобно скалящие друг на друга зубы. Магридж был трус и боялся ударить меня потому, что я не слишком оробел перед ним. Тогда он придумал другой способ застрашать меня. В кухне был всего один более или менее исправный нож. От долгого употребления лезвие его стало узким и тонким. Этот нож имел необычайно зловещий вид, и первое время я всегда с содроганием брал его в руки. Кок взял у Иогансена оселок и принялся с подчеркнутым рвением точить этот нож, многозначительно поглядывая на меня. Он точил его весь день. Чуть у него выдавалась свободная минутка, он хватал нож и принимался точить его. Лезвие ножа приобрело остроту бритвы. Он пробовал его на пальце и ногтем. Он сбрасывал волоски у себя с руки, прищурив глаз, глядел вдоль лезвия и снова и снова делал вид, что находит в нем какой-то изъян. И опять доставал оселок и точил, точил, точил... В конце концов меня начал разбирать смех – все это было слишком нелепо.

Но дело могло принять серьезный оборот. Кок и в самом деле готов был пустить этот нож в ход. Я понимал, что он, подобно мне, способен совершить отчаянный поступок, именно в силу своей трусости и вместе с тем вопреки ей.

«Магридж точит нож на Хэмпса», – переговаривались между собой матросы, а некоторые стали поднимать кока на смех. Он сносил насмешки спокойно и только покачивал головой с таинственным и даже довольным видом, пока бывший юнга Джордж Лич не позволил себе какую-то грубую шутку на его счет.

Надо сказать, что Лич был в числе тех матросов, которые получили приказание окатить Магриджа водой после его игры в карты с капитаном. Очевидно, кок не забыл, с каким рвением исполнил Лич свою задачу. Когда Лич задел кока, тот ответил грубой бранью, прошелся насчет предков матроса и пригрозил ему ножом, отточенным для расправы со мной. Лич не остался в долгу, и, прежде чем мы успели опомниться, его правая рука окрасилась кровью от локтя до кисти. Кок отскочил с сатанинским выражением лица, выставив перед собой нож для защиты. Но Лич отнесся к происшедшему невозмутимо, хотя из его рассеченной руки хлестала кровь.

– Я посчитаюсь с тобой, кок, – сказал он, – и крепко посчитаюсь. Спешить не стану. Я разделаюсь с тобой, когда ты будешь без ножа.

С этими словами он повернулся и ушел. Лицо Магриджа помертвело от страха перед содеянным им и перед неминуемой местью со стороны Лича. Но на меня он с этой минуты озлобился пуще прежнего. Несмотря на весь его страх перед грозившей ему расплатой, он понимал, что для меня это был наглядный урок, и совсем обнаглел. К тому же при виде пролитой им крови в нем проснулась жажда убийства, граничившая с безумием. Как ни сложны подобные психические переживания, все побуждения этого человека были для меня ясны, – я читал в его душе, как в раскрытой книге.

Шли дни. «Призрак» по-прежнему пенил воду, подгоняемый попутным пассатом, а я наблюдал, как безумие зреет в глазах Томаса Магриджа. Признаюсь, мной овладевал страх, отчаянный страх. Целыми днями кок все точил и точил свой нож. Пробуя пальцем лезвие ножа, он посматривал на меня, и глаза его сверкали, как у хищного зверя. Я боялся повернуться к нему спиной и, пятась, выходил из камбуза, что чрезвычайно забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся поглядеть на этот спектакль. Постоянное, невыносимое напряжение измучило меня; порой мне казалось, что рассудок мой мутится. Да и немудрено

было сойти с ума на этом корабле, среди безумных и озверелых людей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь подвергалась опасности. Моя душа вечно была в смятении, но на всем судне не нашлось никого, кто выказал бы мне сочувствие и пришел бы на помощь. Порой я подумывал обратиться к заступничеству Волка Ларсена, но мысль о дьявольской усмешке в его глазах, выражавших презрение к жизни, останавливала меня. Временами меня посещала мысль о самоубийстве, и мне понадобилась вся сила моей оптимистической философии, чтобы как-нибудь темной ночью не прыгнуть за борт.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.